

Лев Прыгунов

Азиатское детство
Ивана Ташкентского



Николай Константинович был человеком широким и добрым: получив от императора 300 тысяч рублей на постройку дворца, он построил на эти деньги в Ташкенте театр. Занимался предпринимательством: завел мыловаренный завод, был владельцем фабрик по переработке хлопка и риса, фотографических мастерских, бильярдных заведений... На деньги, вырученные от всей этой деятельности, построил первый в Ташкенте кинотеатр (приносил ему довольно большие деньги), назвав его «Хива», в память о своем первом боевом походе.

Лев Прыгунов

Азиатское детство Ивана Ташкентского

Роман

*ANNO Ахматово и Пастернаково,
ANNO военное — детство мое:
Бешеным лаем лохматое,
нищим столом одинаково...
Бедная, нежная мать моя!
Страшные годы ее!*

Я всегда знал, что где-то в моих бумагах, то ли в мастерской, то ли на даче, валяется моя старая неоконченная рукопись, которую я забросил лет тридцать-сорок назад. Почему — не помню. Скорее всего, она мне казалась уже тогда безнадежно устаревшей. Но теперь, разыскав ее, я, сам постаревший на тридцать-сорок лет, увидел в ней так много глупой искренности, наивности и, как ни странно, АБСЛЮТНОЙ, ЧИСТЕЙШЕЙ ПРАВДЫ, что решился ее издать — а вдруг она отзовется в чьем-нибудь сердце ярким воспоминанием — у кого из этой жизни, а у кого из предыдущей (я неколебимо верю в вечную, нескончаемую реинкарнацию).

Итак — вперед!

Мои дорогие — осмелюсь сказать — Друзья-читатели! Мои милые, роскошные, благоухающие, благовоспитанные приличные дамы! Мои бойкие, наглые, благородные неряхи-интеллектуалки! Мои друзья ленинградцы, а также гениальные приятели, путешествующие по миру как по своей, так и не по своей воле! И, наконец, мои несчастные и счастливые, талантливые и бездарные, грустные и веселые, мои разные, всякие, разбросанные по всему Союзу (как я не люблю это слово!) и по некоторым социалистическим (это слово я также предпочел бы не употреблять... б...) странам, ДЕТИ, мои СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ!!! Я начинаю свои безалаберные записки только с одной целью — вывернуться наизнанку и оправдаться во всех моих грехах, поскольку многие события моей бурной жизни несомненно заставят кое-кого взглянуть на меня с несколько иной стороны и — самое главное — откроют глаза только что упомянутым законным и незаконным детям, дав им понять, что их отец (несмотря на всю грязь, которую неизбежно льют на меня их глупые матери) совсем не такой уж негодяй! Да, да, оправдаться во что бы то ни стало, чтобы они — не дай Бог! — когда чуть подрастут, не заявили ко мне, жалкому старикашке, все скопом на расправу — бить меня ногами, выдирать оставшиеся волосы или просто плевать в мою мерзкую физиономию.

Итак, дорогие мои, представьте себе, что волей судеб вы обречены на вечные скитания и переезды из одного жилья в другое. Чердаки — надо долго карабкаться по лестницам. Подвалы — спускаться в заплесневелые преисподнии, то и дело стучаясь о всякие балки. Углы — толкаться в коридорах, перешагивая через бабкины сундуки и коробки с хламом. Зимние и летние дачи — задыхаться в вонючих, забитых до отказа рабочим людом электричках. Представьте еще и то, что при всех этих перипетиях вы всегда вынуждены таскать за собой какую-нибудь драгоценную, хрупкую, но не совсем удобную для перевозки вещь — ну, скажем, роскошное, старинное кресло работы французского мастера начала XVIII века — с позолотой, резными бантиками, цветочками, гирляндами и веночками из точеных листьев, — словом, со всякими нежными и хрупкими выступами! Думаете, вам удастся пронести его в целостности и сохранности через пятнадцать-двадцать лет безумной и бродячей жизни? Увы, как бы вы не обматывали все эти рюшечки и цветочки марлей да ватой, как бы осторожно вы не переносили свою драгоценность с места на место, все равно какой-нибудь бантик, амурчик или цветочек у вас когда-нибудь отлетит (а то и все сразу) — уж больно не приспособлена мебель времен Людовика XV к нашей нелепой и ужасающей стороннего наблюдателя российско-советской жизни пяти-шести- и семидесятих годов, в которые я имел и имею несчастье проживать, и о которых собираюсь поведать в своем небольшом, но правдивом повествовании.

Говоря о своих сочинениях, авторы, как правило, называют их «скромными», чего я никак не могу сказать о своем собственном, поскольку с первых же страниц заявляю, что упомянутое выше великолепное кресло стиля рококо — всего лишь дурацкая метафора! Это редкое и весьма драгоценное в наше время и в нашей стране «кресло» — я САМ!!! Изящное, легкое, красивое, смышленное, очень ловкое, ммм... даже крепкое (в самом начале моих мытарств), пока еще сравнительно молодое, но совершенно не вовремя произведенное на свет сооружение из подвижных, ладных костей (*os pubis*, например), ну и других не менее важных, покрытых лоскутами эластичных мышц (*maximus gluteus*, к примеру) и чистой, бархатистой кожей — вот вам и Я в самом начале моих «одиссей» — живой Гермес, Аполлон, Дориан Грей, кто хотите.

Но вернемся к нашему креслу — какое счастье, что оно еще сохранилось! Будь это даже обычный советский стул, сбитый в любом орденосном мебельном комбинате, от него бы не осталось ни рожек, ни ножек в самый первый квартал подобной чердачно-подвальной пятилетки! Но то ли Мастер, как истинный художник, заранее предчувствуя суровые перемены у себя в стране, в результате которых нагрузка на изящную мебель могла резко увеличиться, решил сразу же сколачивать свои изделия на славу, чтобы каждым из них можно было разmozжить головы по крайней мере полдюжине якобинцев, то ли в те далекие времена просто было принято делать все на совесть, — во всяком случае кресло Мастера, с громадными потерями прошедшее тяжелейшие испытания, все же сохранило свой остов-каркас полностью, в том самом виде, в каком его препроводили в отделку резчикам, позолотчикам и обивщикам.

Моим же Мастером оказалась матушка Природа — хитренькая и щедрая ко мне дама лет эдак тридцати пяти. Сговорившись со своей подружкой Судьбой, она взяла меня под свое покровительство — подруга наверняка набросала ей коротенький планчик моей жизни на ближайшие тридцать лет, и мадам Natura ужаснулась — не

трудно было понять, что без специальных расчетов, высококачественных материалов и особого подхода к моему будущему скелету, как к конструкции высотного здания в сейсмически опасном районе, никак не обойтись. И вот вам результат — мой каркас крепок, как кресло Мастера — кое-где поскрипывает, кое-где, конечно, расшатан, но это не беда — можно его разобрать, почистить, смазать новым клеем, сбить заново, положить под пресс, зажать струбцинами — и скелет опять как новенький.

Но, Господи! Что делать с рюшками? С бантиками? С истлевшим шелком? С когда-то розовато-беленькими амурчиками и золочеными веночками? Увы, вот мои потери к тридцати двум годам: моя главная рюшка, мой цветок, мой бантик, а именно — мое мужское достоинство — уже никуда не годится! Эта важная деталь, несмотря на свои весьма скромные размеры, оказалась самой неудобной для переездов и скитаний: вечно она за что-то цеплялась, во что-то вляпывалась, вечно ее то царапали, то сдирали, то стирали... Перегревали, переохлаждали (от смены температур эта несчастная деталь потрескалась, точно картина старых мастеров), и вот уже несколько раз начинали ее — поникшую, исковерканную, изъеденную мерзким шашелем, приводить в порядок, — чистить, подклеивать, закреплять, левкасить, подтюкивать-подмазывать и в завершение покрывать лаком-позолотой! Но, как известно всем реставраторам мира, прежняя форма никогда не восстанавливается, былая свежесть, осанка, бывшее материально-духовное наполнение оригинала не возвращается уже никогда, каким бы чутким, старательным и гениальным ни был реставратор.

Ну, а остальные потери не так уж и важны: глаза мои сожжены театральными софитами и прожекторами сотен концертных и эстрадных залов, поскольку я зарабатываю на жизнь самым нелепым, но и самым любимым нашим незамысловатым зрителем «искусством» — я большой «мастер» игры на ксилофоне и мои номера пользуются невероятным успехом где-нибудь на Камчатке, в Барнауле или в наших азиатских республиках. Я выучил когда-то штук пять-шесть «пиэс» И могу играть их с закрытыми глазами, а большего мне и не надо. (Наши артисты цирка, к примеру, по пятнадцать лет «работают» один и тот же номер и живут себе припеваючи.) Суставы мои пухнут, щелкают, скрипят и ноют днями и ночами — на гастролях в Воркуте (кто у меня там — девочка? мальчик? — убей меня бог, не помню) я заснул пьяный после концерта на автобусной остановке — ночью! Зимой! И результат — неизлечимый полиартрит. Всю жизнь меня мучают бессонница и ночные кошмары — по ночам я все жду, что кто-то ворвется через окно ко мне в комнату и меня или задушит, или хряпнет топором по черепу. Наконец (дети, отвернитесь), в заднице у меня жуткий геморрой — поклон и smile всем собратьям по несчастью! Да плюс еще мой хронический простатит — тут уж совсем не до смеха — будто посадили тебя на кол, а ты еще должен поворачиваться на нем туда сюда, делая вид, что любишь окрестностями. Есть и другие мелочи, но они касаются внутренностей: желудок, почки-кишочки, печенки-селезенки — все никуда не годится. Сам удивляюсь: гастрит, холецистит, блуждающая почка, вечные запоры (мой бедный геморрой!). И, наконец, экстерьер — тот самый тончайший шелк. Боже, он вытерся и облез! Волосы поредели, глаза потускнели, а шея и плечи через каждые пять минут дергаются в пляске святого Витта, лицо искажается нелепейшей гримасой, правая нога дергается вверх, а левая рука норовит вывернуться куда-то вбок, глаза закатываются под самое темя, а нос начинает крутиться против часовой стрелки. Проходит пять-десять минут, и где бы я ни был — на улице, дома, в ресторане, в кабинете начальника — все повторяется

снова. Со своим номером на сцену я стараюсь выходить сразу после очередного «приступа», но, к сожалению, мне это не всегда удается, и тогда доверчивый зритель в такие моменты закатывается от смеха, считая мои гримасы клоунскими выходками. Вот вам и самый мой страшный бич — НЕРВЫ!.. Впрочем, стоит ли так много времени уделять недугам! Я верю в реставрацию, люблю докторов и всегда с удовольствием лечусь. «Но позвольте, молодой человек?! — спросите вы. — Каким же образом вы существуете?!» А вот существую! И, мало того, я проживу сто двадцать шесть лет!!! Но... при одном условии.



* * *

Дед мой по матери был священник, дед по отцу — пьяница-околоточный, а прадедов и прабабок я не знаю — у нас в России одни только лошади да собаки имеют родословные более чем в два колена. А сейчас уж тем более — кому какое дело до предков? Умер мой первый дед в постели, спокойно и тихо, правда, за месяц до смерти три раза водили его на расстрел и все никак не могли расстрелять — два раза его расстреливали красные и один раз белые — красные за то, что поп, а белые за то, что красные не расстреляли. И всякий раз прихожане спасали: мол, наш поп, хороший, нищих бесплатно и крестит, и отпевает! Село, к несчастью, стояло как раз на линии фронта — из Сибири Колчак, с Урала красные, и те и другие пьяные, злые: «Говори, где стоял комиссар?!» «Да у батюшки стоял, вона дом-то какой!» «Ах ты, старый хрыч, большевикам продался?!» И пошло, и пошло; потом примирение, опять пьянство, а у батюшки дома светло, чисто, пахнет красиво, у офицера-то губа не дура, что у того же комиссара... Но вот проходит неделя-другая, вышибают красные белых из села, гуляют на радости, напиваются в стельку: «Так у кого, гришь, стоял офицер? У попа? А, так он, кровопийца, еще жив? Ну-ка выволакивай его! К стенке!» — и врываются в дом, и вытаскивают несчастного в исподнем белье на улицу — в дождь, в снег, в мрак, в грязь, в смерть... В последний раз прибежал сосед, предупредил — идут, расстрелять решили, бабка быстро его собрала, окно в огородах открыла, чтобы к реке спустился да по Исети на лодке в Ялуторовск проскочил, он уже и ногу забросил, кряхтит, никак завалинок ногой достать не может, а потом вдруг тихо засмеялся да и залез обратно в комнату: «Ну их, не пойду я. Как Господь положит, так тому и быть».

Помолился, успокоился, бабка в слезы, дети в слезы, плачут, уговаривают, а он глядит на них и улыбается. Так и на сходке стоял, счастливый, — знал, что за Бога умирает. Вот потому и не расстреляли его красные — ИЗ ЗАВИСТИ — ишь, чего захотел! Нет, ты помучайся! В грязь промерзлую толкнули, за волосы по лужам таскать стали, ногами пинать... Деревенские, те, что потрезвее да посмелее, вступились — сначала робко, а потом уж и вовсе его у большевичков отбили. Так он с той ночи и слег, и смерть его была спокойная и торжественная — накануне явились ему ангелы, и все в доме знали, что душа его непременно отлетит в Рай и ждали этого момента покорно и благоговейно.

Мама моя в своей поповской семье по счету была четырнадцатой и, слава Богу, последней. Когда она родилась, деду было уже шестьдесят, а бабке около пятидесяти, так что не удивительно, откуда у меня такое хлипкое здоровье — моей бедной мамочке всю жизнь доставались одни жалкие обноски ее старших сестер, да и по медицинской части — чего взять со стариков? Так на дне кастрюли после дружно съеденного жаркого остаются пригоревшие корочки, и случайно опоздавший на обед знай только облизывается — вкусно, да уж больно мало. Нервная, подвижная, болезненная, правда, очень веселая (если у нее ничего не болит) и очень острая и умненькая — вот вам моя дорогая, любимая мамочка. В молодости и до войны она была красоткой — жгучая брюнетка с прекрасной фигурой и холерическим темпераментом. Но к несчастью, совдепия скрутила ее в бараний рог как «поповское отродье», не позволила ей ни выучиться как следует, ни работать; И прожила она всю свою жизнь в безумном страхе и за себя, и за детей, и за моего отца. В войну она настрадалась немислимо; после войны потеряла любимого мужа, чуть не сошла с ума от горя, замкнулась, всю себя полностью отдала детям (мне и сестре) и стала совсем больной. Отец же... Но тут начинается мое голодное, голоногое, малорадостное и все же безмятежное детство. И посему остановимся на этом несколько подробнее.

* * *

Увы, увы, увы!! Я поставил себя в нелепое и глупое положение: подумайте сами — что может быть скучнее реальности, того, что было на самом деле?! Ведь я хочу рассказать правдивейшую историю моей жизни! Но нет, нет, я не собираюсь покушаться на Великую Исповедь — экое святотатство! — И прежде всего потому, что просто-напросто таланту не хватит, так что история моя будет скорее оправдательным документом, я бы сказал, чуть длинноватой многословной справкой, произведенной на свет припадками неизлечимой графомании и заверенной кровавой печатью моих страданий (красиво сказано, черт побери!). Справкой, которую я предъявлю каждому, с кем свела меня жизнь, и по которой станет ясно, почему в одном случае я опоздал, в другом явился слишком рано, а в третьем все перепутал и вообще никуда не пошел. Словом, это будет повествование о печалях, радостях, мытарствах и, главное, о двух-трех неподвижных и навязчивых идеях некоего молодого человека примерно одних со мной лет, взглядов и физических данных, который назван в этой истории (для краткости и по врожденной привычке говорить правду и только правду) «Я». Итак, продолжаем.

Моя мать считает меня очень похожим на отца, и, хотя я и повторяю некоторые его движения, его походку (у меня та же сутулость), а также знаменитые тики, увеличенные раз в сто моими искромсанными нервами, согласиться с ней я никак не

могу. Он был великий человек, мой отец, а разве великие люди когда-либо порождали себе подобных? К сожалению, нет. И единственно, что успокаивало меня до сих пор, это то, что я выбрал себе сферу деятельности совершенно отличную от Науки, которой посвятил свою жизнь он, в надежде, что все его качества, переданные мне наследственностью, разрастутся и расцветут на новой стезе, как блохи и прочие твари на дохлой крысе. Но, скажу сразу, тут я трагически ошибся — что может быть общего между ученым-генетиком и так называемым «ксилофонистом-виртуозом» В нашем убогом советском, провинциальном по духу и самодеятельном по сути Эстрадном искусстве!

О жизни отца до моего рождения я знаю совсем мало, как, впрочем, вообще о его жизни. Вот вам официальная версия.

Отец его — мой дед — был силачом, гигантом, в молодости служил в Преображенском полку, а потом стал околоточным у себя в большом селе на Вятке. Знаменит, в основном, был тем, что, не отрываясь от горлышка, выпивал четверть водки (дети, не путайте с четвертинкой! Четверть — это 2,5 литра!). Но, как всегда добавлял мой отец (по словам матери), если бы дед стал так пить до рождения сына, то сын генетически стал бы алкоголиком, но дед, к счастью, стал пить, когда сын уже вырос. Я ничего не знаю о дальнейшей жизни деда и как он кончил, знал всегда только, что отец свою семью не жаловал, что с самого раннего детства у него был дружок Левка — сын богатой русской капиталистки, жившей совсем неподалеку в купеческом городке Яранске, и мой отец, в сущности, воспитывался вместе с ним у них в доме, где научился читать, писать, говорить по-немецки и даже превосходно играть на скрипке. Когда в двадцатом году его благодетельницу вместе с Левкой арестовали и сослали в Архангельскую губернию, отец вернулся в кромешную нищету своей семьи, но, не выдержав разницы в обхождении и стиле жизни, меньше чем через год (ему тогда было лет 14) ушел из дома в самый разгар зимы. Обмотал ноги тряпками и, как Ломоносов, пошел пешком в Москву. Учиться! Но в Москве его угрозами или обманом заставили поступить в какое-то военное училище, из которого он вскоре сбежал, чуть было не попал под трибунал, каким-то чудом встретился со старушкой Крупской, с которой тогда еще считались — 1921 год! — и был спасен: высочайшим повелением ему «позволили» учиться ботанике, зоологии, химии, марксизму и дарвинизму.

* * *

А теперь, дети мои, мне необходим глубокий вдох и резкий выдох! В этот момент в нашем повествовании наступает самый важный поворот — сейчас я открою вам захватывающую, реальную тайну рождения моего отца — захватывающую и невероятную — (и, следовательно, тайну рождения автора этих записок и вашу, вашу тоже!!!). Но не знаю, как начать — нервничаю, можно сказать, трепещу, боюсь читательских насмешек, негодования, обвинений во лжи, самозванстве, даже святотатстве! Очередной бред очередного проходимца или сумасшедшего! — могут сказать они и с презрением отбросят в сторону мою писанину. Но, слава Богу, десятка два читателей — десяток друзей да десяток детишек (одни из сочувствия, другие из любопытства) — дочитают эту главу до конца. Итак, мы сворачиваем с главной дороги на сомнительную тропку, по которой, продравшись сквозь темные и кусачие дебри совершенно не проверяемых фактов, мы выйдем на громадные просторы — вся

нелепая, необъятная Русь откроется вашему взгляду с этого неприметного и сомнительного холмика моей безумной Тайны-Легенды, стоит только поверить в нее так же, как в нее верил мой отец, и как поверил в нее я! А вас, дети, спешу обрадовать — вы будете в восторге от нее, более того, она вас крепко поставит на ноги, поднимет ваши головы, подтянет плечи, вы мгновенно обретете стойкость, ауру загадочной и притягательной силы, необыкновенное и мало кому ведомое в нашей рабской стране чувство собственного достоинства (то, что американцы называют self confidence). Но — терпение! Она начинается издалека, и, чтобы подстегнуть ваше любопытство, я вам ее сначала открою, а уж потом ринусь в злые заросли доказательств — без топора, без ножа, в летней рубашонке с короткими рукавами... Ах, до чего же я уязвим! Каждый шип, каждая гнусная колючка готова исцарапать меня в кровь!

Итак. Дамы! Господа! Геноссе! Камарадос! И, главное, Товарищи! Находясь в здравом уме и твердой памяти, я заявляю, что мой отец, а следовательно, и я, а следовательно, и все мои дети являемся САМЫМИ ПРЯМЫМИ (из всех оставшихся в живых), но, к сожалению, НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫМИ (как, увы, и большинство моих детишек), потомками царствовавшего в недалеком прошлом в России РОДА РОМАНОВЫХ!

* * *

Совсем недавно, лет десять назад, моя дорогая мамочка, закрыв дверь своей комнаты на ключ, развернула дрожащими руками узелок с письмами и, вынув оттуда дряхлую бумажку, протянула ее мне с довольно странной усмешкой, как бы говоря: это все такая чепуха, что обращать на нее внимание вовсе и не стоит — блажь, бред, выдумки сумасшедшего. Однако лицо ее при этом заострилось и побелело, а взгляд все время метался от бумажки к двери, от двери к окну и обратно, и ее вид при всей ироничности и смешках: «Какой чудак был твой отец!» — говорил о глубоком страхе, что ее подслушивают или за ней подсматривают. «В тридцать седьмом году в школу, где работали мы с отцом, пришли трое в штатском из НКВД и потребовали личные дела всех учителей. Отец прибежал домой, сел за письменный стол, написал вот это письмо и тут же зашил его в старый валенок, — шептала мне мать. — Мы тогда очень боялись, что нас с ним арестуют, ведь я поповская дочка, а он уже тогда в открытую ругал Лысенко и говорил о генетике! На следующий день из школы пропали два самых лучших учителя; ни отца, ни меня не тронули, а письмо так и оставалось в валенке. После смерти отца я про письмо забыла, а когда вспомнила, оказалось, что валенок уже изгрызла моль и даже кое-где задела бумагу. Сначала письмо я хотела сжечь, потому что если бы кто-нибудь его прочитал, нас бы всех пересажали, а может, и расстреляли бы, кто их разберет! Только я знала, что твой отец был ужасный фантазер, а там иди доказывай! Но потом жечь передумала, пересыпала письмо нафталином и зашила в свое старое пальто. Боже мой, как я боялась, что ты его когда-нибудь найдешь! Но теперь ты поумнел, перестал болтать лишнее, а я... Кто знает, сколько я проживу! Да и времена теперь другие... Ой, нет, нет! — спохватилась моя мамочка и горестно закачала головой. — Времена те же, и я так боюсь, так боюсь... Но ты только дай мне слово, что обо всем этом никто никогда ничего не узнает — ни твои друзья, ни твои дети, ни твоя сестра — это будет только НАШ с ТОБОЙ СЕКРЕТ!!!»

Я поклялся всеми моими детьми (мама знала половину из них) и получил из рук в руки мятую полутряпочку, исписанную торопливым, мелким, но очень красивым почерком моего отца. Вот это письмо, слово в слово, кроме тех мест, которые безвозвратно пожрали моль и время.

«В 1925 году, когда я уже начал учительствовать в Великом Устюге, я получил страшное письмо от моего вят... (Здесь была первая дыра, текст прерывался, но я знал, что в Вятке у него был друг по имени Левка — сын отцовской благодетельницы, а все родственники отца были безграмотны.) Он писал, что завтра их увозят куда-то на север, а куда — еще неизвестно, скорее всего на Соловки. По всем признакам дела у них были очень плохи. Также он сообщил мне, что Амн... (Или Ант... — строчка снова наткнулась на дырку, и мама предположила, что здесь было написано имя той самой благодетельницы — Анны Георгиевны.) — под правой балкой на чердаке Шаляпина (то есть моего дядьки, который страстно любил петь при полном отсутствии слуха и голоса, и только мы с Левкой звали его Шаляпиным) спрятана... (тут я обрадовался, что оказался прав насчет Левки) собрался тут же в дорогу и по приезде в свою деревню на дядькином чердаке нашел в коробочке ее письмо и маленький сверток, в котором оказался золотой крест на золотой цепочке, украшенный золотыми листиками тонкой работы и алмазными сколками. Она приказывала мне прочитать письмо, выучить его наизусть и затем немедленно сжечь, и никогда никому о нем не заикаться, по крайней мере в России. Я убежал в лес и целый день заучивал письмо. Возможно, я помню его не совсем точно, но за фактическую сторону... (Тут текст прерывался уже не из-за трухлявой молевой дырки, а из-за обыкновенного стертого сгиба, который поглотил две строчки) эту должен хранить, как зеницу ока: помни, что если ты при большевиках кому-нибудь проболтаешься, то тебя расстреляют, как расстреляли всех твоих знаменитых родственников. (Это уже шел текст самого письма, как не трудно было догадаться.) Итак, знай, мой дорогой мальчик, что я твоя родная мать, да, да, твоя мать, и я сейчас плачу горькими слезами, потому что не смогла тебе этого сказать, когда ты был рядом, а мы уже никогда не встретимся. Как ты оказался в твоей семье — слишком длинная история и чудесное совпадение — то, что Агриппина Георгиевна родила мертвого ребенка, а я скрывала свою беременность тобой от мужа, который, слава Богу, тогда почти все время жил и работал в Швейцарии. Но это не все. Семь лет назад в городе Ташкенте скончался твой родной отец — Его Императорское Высочество Великий князь Николай Константинович. Вот это и есть наша с тобой заповедная, но почетная тайна. Ты, наверное, помнишь, как много я рассказывала вам с Левушкой о Ташкенте, о моем увлечении молод... (Снова дырка.) садах, виноградниках, да, я всегда хотела... ..цветущий сад, и когда мы поссорились с мужем, и его... В Швейцарию, куда он забрал Левушку, я кинулась в Туркестан, в самую жаркую пустыню, совсем еще мо... ..вая (Это все одна и та же дырка, но почти все слова легко восстановить: увлечение молодости, превратить пустыню в цветущий сад, направили или отправили, совсем еще молодая и красивая)... И какое счастье, что я там встретила Его! Его считали не совсем нормальным, но это ложь! Ложь! Никогда не верь никаким грязным сплетням, кто бы тебе их ни сообщил! Да, у него была одна „история“, но я всегда благословляла за нее Всевышнего: кто знает, может быть, и была она допущена Господом только затем, чтобы мы с ним встретились и полюбили друг друга. Он был уже в возрасте — ему тогда было пятьдесят три года — чуть лысоват, выше среднего роста, хотя и сутулился, но что это был за человек! Умный, яркий, поистине царственно-

благородный, добрый необыкновенно! Женщины были от него без ума (у него даже были две законные жены!). Не влюбиться в него было просто невозможно! Да еще он мне все время говорил, что я — копия его американской возлюбленной. Так уж получилось, что я какое-то время была у него секретаршей, можно сказать — правой рукой: мы прокладывали каналы, рыли арыки, сажали хлопок, гранаты, виноград и персики. Мы полюбили друг друга, но открыто встречаться не могли — он был женат, царской крови, и каждый его шаг был как на ладони. К моему несчастью, мне срочно пришлось выехать в Вятку, куда приехал из Швейцарии муж. Я надеялась еще вернуться в Ташкент, который я полюбила так же горячо, как твоего отца, но, увы, судьба распорядилась иначе. А что касается скандальной истории, Его Высочество Великий Князь Николай Константинович был убежден, что эта хитрая провокация была задумана только для того, чтобы его...»

Здесь кончались различимые слова и буквы, а мама сказала, что было еще два-три стертых листочка с непонятными словами, но она их выбросила. Вот так появилась наша фамилия — Ташкентские — отец взял ее сразу же, как только получил письмо от моей, будем говорить, настоящей бабушки.

Эта история с письмом меня, конечно, ошарашила, и я даже какое-то время думал, что мама меня разыгрывает. Но потом, видя, как бледнеет ее лицо, стоит мне лишь заикнуться о письме, я понял, что вся эта история — истинная правда. Я пытался начать собственное расследование, но, увы, в то время я был чудовищно невежествен, как и полагается быть провинциальным лабухам. Я, правда, сходил пару раз в нашу центральную библиотеку, но ничего толком не нашел, кроме простого упоминания его имени в ряду его венценосных родственников. И тогда-то я вспомнил о существовании одного моего странного знакомого по фамилии Каргопольский, с которым мы как-то вместе напились в Ленинграде после нашего концерта в Ленинградской филармонии. Человек этот необыкновенный. Он знает все. От глистов до ангелов. От вирусов до мегагалактик. Он знает, от какой болезни умер каждый «малый голландец», историю России и Европы чуть не по дням и — что меня просто убивало — имена и фамилии всех советских министров и их заместителей! Короче, я написал ему письмо и просил ответить мне как можно скорей — все, что он помнит, или найдет о Великом Князе Ник. Константиновиче. И буквально через неделю получил ответ. Вот он.

«Дорогой Иван! Письмецо твое прочел и изучил с цюством оhrоmново удовлетворэния (для незнающих — это мой товарищ копирует убогую речь Брежнева). Значит, так. Несчастный, который в этот миг переворачивается в своем невесть где находящемся гробу, носил имя: Его Импер. Выс-во Вел. Князь Николай Константинович (род. 2 февр. 1850 г., тезоименитство 6 дек.). Это старший сын Вел. Князя Константина Николаевича, а тот, в свою очередь, был вторым из четырех сыновей имп. Николая I. (Не знаю, по каким причинам Николай давал сыновьям имена те же и в том же порядке, что и отец его Павел — Ал-др., Конст., Николай, Михаил). Сам понимаешь, об этом опальном Высочестве никогда не писали много. В старых энциклопедиях (Гранат, Новый энциклоп. словарь) ты не найдешь ничего, кроме того, что я сообщил выше. В Советск. истор. энциклопедии он упомянут в родословной таблице к статье „Романовы“. Там дана и дата смерти — 1918 г. Об обстоятельствах, естественно, не сказано ничего. Вот дословная выписка из книги, оказавшейся под рукой — С. Ю. Витте. Воспоминания, т. I, стр. 224: „В Туркестане же, а именно в

Ташкенте, я в первый раз видел великого князя Ник. Конст., старшего сына в. кн. Конст. Ник. Я видел тогда его сравнительно мельком, он приходил к министру финансов, и меня очень удивляло, что он, с одной стороны, по видимому, был человек умный, деловой, т. к. там, в Средней Азии, он делал большие оросительные работы, разводил хлопок, а с другой стороны, было установлено, что вел. кн. Ник. Конст. находится в ненормальном состоянии...

Когда этот вел. кн. Ник. Конст. (старший сын вел. кн. Конст. Ник-ча и Александры Иосифовны, кот. жива до настоящего времени, хотя уже слепа) жил в Петербурге и был еще молодым офицером, то случилось такого рода событие: он, прямо говоря, украл очень драгоценные бриллиантовые вещи у своей матери. Вот тогда и было установлено, что он находится в ненормальном состоянии, а поэтому он, сравнительно с различными мерами, и был сослан сначала в Оренбургскую губернию, где женился на дочери какого-то полицмейстера (в Ташкенте он жил уже вместе со своей женой). Затем, когда умер имп. Ал-др III и вступил на престол ныне благополучно царствующий император, ему одно время разрешили жить в Крыму, но теперь его опять перевели в Ташкент. Несомненно, это человек ненормальный, причем ненормальность его проявляется в различных удивительных действиях, как например: вел. Князь вдруг крадет бриллиантовые вещи своей матери... В крае его признавали человеком умным, толковым и сравнительно простым. Вероятно, он был лишен всех чинов, т. к. постоянно ходил в штатском костюме. Наружность он имел не выдающуюся, был лысым, но во внешности его не было ничего отталкивающего“.

Витте писал по слухам. Сколько я помню, есть и другие сведения. Так, местом его женитьбы называют Казань. Притом он не был „сослан сначала в Оренб. губ.“, а сразу в Ташкент. Женился он по дороге, ибо ехал к месту ссылки, по понятным причинам без охоты, с частыми и длительными остановками. Где-то я читал еще, что кражи происходили в Зимнем дворце. Стало быть, пострадала не только Ал-дра Иосифовна (она с семейством проживала в Мраморном дворце).

Кое-какие разрозненные сведения о вышеупомянутых „различных удивительных действиях“ можно найти в изданных дневниках воен. м-ра Д. А. Милютин, м-ра вн. дел П. А. Валуева и фрейлины А. Ф. Тютчевой (дочери поэта). Выходных данных я не помню. Дневник Тютчевой издан давно, не то в 30-е, не то даже в 20-е годы. Милютин и Валуев издавали уже после войны. Занимающий тебя скандал разыгрался прямо на глазах у этих трех персон. Там ты найдешь и точные даты. Позже, уже по слухам, об этой истории писал в своем дневнике и А. А. Половцев, статс-секретарь. Не помню точно, что у него написано, но знаю, что автор, злой сплетник и интриган, люто ненавидел вел. кн. Конст. Ник., а с ним и все семейство. Наконец, о жизни великого князя в Ташкенте очень живо (и, по-моему, с симпатией) писал А. Свирский (автор best-seller'a „Рыжик“) в книге „История моей жизни“ (было послевоенное издание). Кажется, вся история со всякими украшениями разболтана в каком-то старом журнале — „Голос минувшего“?.. Не знаю, не читал. Кто-то рассказывал мне, будто следствие вел нарочно приглашенный из Америки сыщик Нат Пинкертон. Тоже не читал. В названных выше дневниках-первоисточниках говорится лишь о шефе жандармов П. А. Шувалове: он, де, и разоблачил великого князя.

Упомянутый у Витте Крым точно локализуется как „Ореанда“, родовое поместье этой семьи, где Конст. Ник. (отец) долго жил, много строил и делал вино на продажу

(у него был собственный винный магазин в Петербурге). Любопытно было бы взглянуть, что там, в Ореанде, сохранилось? Нынешний хозяин Ореанды, кажется, не столь ho-сте-прэ-имэн, как великие князья, но тебя, если захочешь, туда сможет провести твой приятель Цеденбал, он часто там бывает.. И еще... Думаю, о полезных деяниях Его Имп. Высочества можно что-нибудь узнать в старых подшивках каких-нибудь туркестанских газет...»

На этом заканчивается вся информационная часть письма, а Цеденбал (главный начальник Монголии), которого вспомнил мой ленинградский товарищ, на самом деле после нашего концерта в Улан-Баторе пригласил к себе во дворец только меня и главного дирижера нашего оркестра — я лишний раз убедился, что мое «искусство» пользуется громадным успехом у детей и самого неискушенного зрителя. А так как с Цеденбалом мне лично говорить было не о чем, то я выкрутился рассказыванием анекдотов, которых я тогда знал сотни. Цеденбал был в полном восторге и даже пригласил нас с дирижером на охоту — стрелять уникальных маралов, которые сохранились только в Монголии. На мое и маралье счастье наш дирижер категорически отказался, сославшись на здоровье.

Письмо моего товарища-энциклопедиста вызвало во мне бурю противоречивых эмоций и поначалу острое желание докопаться в закоулках и извилинах своей предродовой генетической памяти до любых, самых мимолетных, самых неуловимых отголосков «зова высокой крови»! Но вот что меня до сих пор удивляет: ни воспоминаний С. Ю. Витте, или военного министра Д. А. Милютин, или министра внутренних дел П. А. Валуге, ни дневников фрейлины В. Ф. Тютчевой (дочери автора знаменитых стихов «Умом Россию не понять...»), ни «Истории моей жизни» А. Свирского, который «с симпатией писал» о моем возможном предке, тогда я не стал разыскивать и очень долго никакого интереса к ним не проявлял, подсознательно боясь, вероятно, разочароваться в своих первоначальных чувствах и представлениях.

* * *

Иногда... Вот я о чем думаю... И чем дальше, тем глубже поглощают меня эти печальные мысли. До чего бывает жалко самого себя, когда пробегаешь памятью всю свою бездарную, никчемную жизнь с надеждой выискать в ней хоть какой-нибудь более или менее продолжительный кусочек постоянного счастья — торопишься, перескакиваешь через всякие гадости, думаешь: да пораньше, еще пораньше — пятнадцать? — нет, нет, десять? Да нет, тоже нет! И упираешься, как в Берлинскую стену, в свое никудышное военное детство! Как тоскливо и больно, и как сладко ноет сердце, когда, точно во сне, вспоминаешь свои маленькие годы с большими страхами и горестями, с великими и крошечными радостями, с болезнями, одиночеством и — запахами! — такими стойкими, яркими, однообразными... Вечно мерещится мне одно и то же — дым костра, прохлада, цветущая вишня, пыль, прибитая ливнем, жаркая, терпкая, горьковатая... И хоть рыдай — так и тянет обратно в этот ужас: темная азиатская ночь, небольшой домик, звон цикад, у крыльца пылает костер, а у костра измученная мать варит похлебку из лебеды, крапивы и только что проросших свекольных листьев. Осталась, слава богу, потрепанная фотография — наш маленький домик, еще недостроенный, в глине и навозе, а на переднем плане физиономия отца — весь в грязи, лысый, хохочет — ну и рот! А зубы! Это было еще до войны, и я тогда только родился, но сад уже был посажен, а перед крыльцом, где как раз позже мама и

раскладывала костер, росло громадное (как мне казалось), корявое урючное дерево. Но вот другая фотография — жуткая и нелепая: тот же домик, на стуле сидит мать (бог мой, ей только тридцать два года!), худющая как смерть, вся в морщинах, с седыми висками, и в глазах у нее такая печаль и тоска, что становится страшно. А с двух сторон наши головы — моя и сестры. Сестра тоже худющая, застенчиво улыбается... А я — как ни в чем не бывало! В глазах даже какая-то живая хитринка проглядывает, мол, мы еще посмотрим, кто кого! Вот он, жестокий эгоизм молодого жадного организма — ничего-то я и не хотел тогда понимать, а знай дергал каждую секунду маму: хлеба, хлеба! — и она, конечно, отдавала все, что у нее было, да еще у сестры брала — ведь той было уже шесть лет!

Наш домик стоял сразу же за огромным, полудиким парком, который, как принято у нас, весьма изобретательно назывался Парком культуры и отдыха. Грабили и раздевали там поистине с высокой профессиональной культурой, а отдыхать оставались прирезанные на смерть беспечные ночные прохожие — знающие жители нашего городка шарахались от этого парка, как от чумы. А самая глухая и дальняя его часть, примыкающая как раз к нашей улочке, была отведена под зоологический сад. Как только наступали сумерки, а они обрушивались мгновенно, точно город накрывали плотным черным бархатом, вся наша «Малая станица» оглашалась дикими воплями, стонами и рыками обезумевших от голода зверей, и страшней всего был рев самого страшного из них — громадного костлявого льва, грязного, вонючего, безумного, в кровавых ссадинах и колтунах свалывшейся шерсти. И так за все четыре года войны каждый вечер вся наша округа поворачивалась в сторону зоопарка и терпеливо ждала начала заученной наизусть дикой симфонии. Первыми всегда начинали лаять, выть и визжать шакалы, лисы, волки и особенно гнусно, с каким-то дробным повизгиванием — гиены. Дальше вворачивались, как на испорченном патефоне, парнокопытные и крупный рогатый скот — бизоны, зубры, яки, козлы, антилопы (сюда же подключались местные коровы, ишаки и собаки), затем начинали биться в истерике обезьяны, просыпались все птицы — орлы, соколы, филины, попугаи, индюки и цесарки... И вдруг — это продолжалось каждый божий день (каждый вечер я ждал именно этого момента, вот этой страшной, удивительной паузы) — вдруг словно из-за такта раздавался могучий рев, вопль, рык — Требование, Угроза, Обида, Отчаяние, ярость, ничем не сдерживаемые, нечто подобное: В-а-А-у-У-у-о-о-О-о-а-а-А-А-Э-э-у-ы-ы-Ы-Ы-и-и-ы-х-Х!!! И затем — опять пауза, тишина, жуть — совсем короткая, на мгновение... Ужас, озноб, мурашки по коже, напряжение всех мышц — рвануться бы куда-нибудь, бежать, вскарабкаться на дерево, зарыться в землю... И — новый взрыв паники и воплей: Хлеба! Сена! МЯСА! Т Р У П О В!!! И я — жалкий, крохотный, трех-четырёх-пяти-шестилетний мальчонка — каждый день, каждые сумерки, все четыре года подряд слушал, поеживаясь, эти голодные завывания, эти немыслимые поп-артовские концерты, неотделимой частью которых были беспросветная ночь, собственный голод, запах горевшей полыни, отблески от костра на измученных лицах матери и сестры, и еще — панический страх, основной компонент, главная тема, доходившая до кульминации в конце — страх, что из этой тьмы, из зарослей терновника вдруг выскочат одновременно все эти чудовища или одно громадное ЧУДИЩЕ со всеми этими рыками, визгами и завываниями сразу и с одной — выше нашего дома! — мордой со всеми этими клыками, бивнями, зубами, шерстью и налитыми кровью глазами!

И я убежал в дом и сел к столу, на котором стояла маленькая коптилка, сделанная из пузырька от лекарства, сел так, чтобы передо мной и чуть левее от меня был огонек керосинки, а справа через распахнутую дверь я мог видеть пылающий костер под урючным деревом и слышать спокойный голос матери. Постепенно звери в зоопарке успокаивались, я благодарил уж не знаю каких богов, что на сей раз решетки и двери клеток выдержали, и начинал клевать носом (если не болели цыпки на ногах), но тут мама вносила еду, и я, продолжая полуспать-полубодрствовать (сон, как ни странно, почти всегда одолевал голод), с отвращением пережевывал безвкусную бумажно-веревочную похлебку.

Но Боже мой! Как меня мучили, как терзали меня эти мои вечные цыпки на руках и ногах! Да знает ли сейчас кто-нибудь, что такое цыпки? Разве что эфиоп какой или низвергнутый свободой и независимостью на самую последнюю ступень нищеты вьетнамец или кубинец? Начиная с апреля и до самой осени мне приходилось бегать босиком по лужам, арыкам, в грязи, в пыли, в жару, в дождь, по садам и огородам, камням, зарослям малины, ежевики, колючим кустам терновника или барбариса; вечно я ходил ободранный и покусанный соседскими собаками — у меня, как у всех детей войны, была неумная страсть кормиться в чужих садах и огородах, — всегда со сбитыми ногтями, занозами, порезами и нарывами, и все-таки разве что-нибудь на свете могло сравниться с моими цыпками? Мои руки и ноги походили тогда на ноги и руки гипсовых пионеров, простоявших у подъездов школ на своих дурацких шарах лет тридцать, не менее — слои извести и краски у таких горнистов и барабанщиков обычно заворачивались от дождей и непогоды квадратными ошметками, а из-под них выглядывал серый гипс — мясо, а то и ржавые стержни — кости несчастных потомков Павлика Морозова. Мои же цыпки, точно кракелюры на древних иконах, разрывали мою кожу на мелкие квадратики, из которых при каждом движении сочилась кровь и сукровица, которая потом запекалась, лопалась снова, снова сочилась и снова запекалась, и моя нога в конце концов покрывалась толстой буровато-черной броней-коростой, которая ныла, зудела, нарывала, стискивала мои ножки стальными испанскими инквизиторскими башмачками и не давала мне ни житья, ни покоя. Ни о каких ботинках, тапочках и туфельках не могло быть и речи; ни о каких кремах, вазелинах и лекарствах невозможно было и мечтать — ничего нельзя было ни достать, ни купить на жалкую мамину зарплату, хотя работала она одновременно в двух школах (в каждой школе она получала 700 рублей в месяц, а буханка черного хлеба на барахолке стоила 600, и поэтому самым большим несчастьем в военное время была потеря хлебных карточек). И мама моя набирала с купленного на последние деньги молока сливок-пенек, снимала с простокваши сметану и мазала, обливаясь слезами, этой смесью мои изувеченные ноги. За ночь мне становилось полегче, но на следующий день все начиналось снова — мог ли кто уследить за пятилетним сорванцом, оставленным практически без присмотра на целый день? Моя несчастная мать носилась из школы в школу, из обеих школ — домой; забегала только на двадцать-тридцать минут покормить, отдать распоряжения сестре, наспех потискать детей, заставить принять лекарство (я вечно чем-то болел) и убегала снова, как загнанная тощая кляча, — сама больная, издерганная, нервная и до смерти запуганная свистками и гудками фабрик, приказами ГОРОНО и арестами НКВД.

* * *

Впрочем, стоит ли серьезно относиться к мрачным воспоминаниям своего детства? Экая ерунда! Разве понимает младенец, рожденный в тюремной камере, что где-то рядом, за стеной есть яркий, солнечный мир; разве не зависит наше душевное состояние, наши радости и горести — большие и маленькие — только от степени нашего невежества! Вот, к примеру, живет тут у нас по соседству мужичишко — неказистый, сухонький, любит выпить, как все мужики его склада, напившись, ругается с женой, по утрам собирает бутылки по помойкам, летом во дворе каждый вечер играет в домино, словом — нормальный, неприметный, занюханный советский мужичок, каких у нас миллионы; никто про него вообще ничего-то не знал, пока — вдруг — на тебе! — не приходит ему приглашение от самых близких родственников из Канады погостить у них пару месяцев. Ну, думают ТАМ, мужичок безобидный, старый, никому не нужный, да и тихоня, как выяснилось, двух слов связать не может... Короче, выпустили его с богом. А через два месяца вернулся он не просто другим — ну, можно было бы подумать, придавленным канадским избытком, убитым, несчастным — так нет! Скорее даже счастливым в своих переживаниях, в состоянии лихорадочной, восторженной, счастливой радости-ненависти, слишком перевозбужденным от своего открытия мира, неожиданного прозрения и — более всего — от неудержимого желания (скорее потребности) открыть этот мир друзьям и соседям. Никто сначала и не узнал его — чистый, шикарно одетый, стриженный, бритый, необычно энергичный и радостный. «Помойка! — кричал он первому встречному. — Это же помойка!! Мы живем в помойке!!! Ты живешь в помойке, он живет в помойке! ВСЕ МЫ ЖИВЕМ В ПОМОЙКЕ!» Но больше всего мучил его один неразрешимый вопрос — как же так получилось, что в Канаде полно электричества, а «Ильича» там и духу не было? «Лампочка Ильича! Лампочка Ильича! — кричал он везде — и в магазинах, и во дворе, и просто на улицах, собирая вокруг себя народишко. — У них там Ильича этого сроду не было, а свету полно и днем и ночью! Помойка, верное слово ПОМОЙКА, уж мне-то вы можете поверить!» — и продолжал дальше свои упражнения в спряжении, которые никакая сила не могла остановить: «Ты живешь, он живет... она... Все мы живем в ПОМОЙКЕ!» И никто с ним не мог справиться — ни милиция, ни управдом, ни родственники, ни соседи, ни ЖЭК...

Люди из КГБ пытались его припугнуть сумасшедшим домом, но он им показал фигу — нате-кося, выкусите! Его родственники в Монреале оказались тамошними депутатами, и его даже стали приглашать на приемы в Канадское посольство. Так что и КГБ на него плюнуло: всем и каждому, стуча себя в грудь, с пеной у рта, доказывая, что он не сумасшедший, повторял он одно и то же, одно свое: «ПО-МОЙ-КА!!! Эх вы, несчастные! Да вы бы только поглядели, как люди-то живут!» А вот не ездил бы никуда (ну-ка, друзья-полковнички, намотайте себе на ус!), не шлялся бы по заграницам, так бы и оставался тихоней — довольствовался бы своим домино, тридцатирублевой пенсией, бутылочкой на троих, и его родная, дворовая, вонючая помойка никогда бы не подтолкнула его к столь опасным обобщениям. Я же, слава тебе, Господи, не знал ни электричества, ни Канады, ни конфет, ни мармелада, ни халвы, ни паровозов, ни свободы печати, ни конституции, ни расстрелов, ни репрессий. Знал только, что в нашем районе самым «страшным» и уважаемым человеком был участковый милиционер, а во всем МИРЕ — Сталин, и на вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — к несказанному ужасу мамы, всегда отвечал, спокойно и твердо: «Сталиным». Но, подумав несколько секунд, реально оценив *Möglichkeit**, снисходительно добавлял: «Или милиционером». А что касается моей

голодной и на сторонний взгляд безрадостной жизни, то я считал, что так оно и должно быть, и только, затаив дыхание, слушал волшебные сказки о том золотом времени, когда недоеденные булки выбрасывались, а чай пили с конфетами и вареньем. Крапива, лебеда, кукурузные лепешки, картофель в мундире (весьма, между прочим, здоровая и не без витаминов пища) и, наконец, ЖМЫХ — самое сладкое из того, что было в ту пору (кто сейчас, кроме скота и моего поколения, знает, что это такое!). А по праздникам вареная красная свекла — это-то и называлось у нас мармеладом! И на всех — кружка молока! Я ждал чуда, когда кипятили молоко и оно начинало подниматься, и всегда кричал: «Не снимай! Сейчас его будет больше!» И все это, как и вечные мои поносы, дизентерии, скарлатины, свинки, воспаления легких, коклюши и ангины — все это казалось мне НОРМОЙ, тем, что просто необходимо время от времени каждому, без чего ну никак нельзя обойтись! Часами, сутками, неделями просиживал или пролеживал я дома во время моих бесчисленных болезней в полном одиночестве — (ах, дети мои, если бы вы знали, как... как... вот видите, я уже плачу...) — да, да, в полном одиночестве, ожидая смиренно, когда придет из детского сада сестра или из школы мама, часами разглядывая открытки с картинами из Лувра или из Третьяковской галереи (вот откуда мое пристрастие к ортодоксальному Реализму!) или барабаня ложкой по звонким баночкам и бутылочкам с микстурой, и — самое любимое и самое громкое — по моему эмалированному горшку! Вот откуда мои талант и страсть к ударным! Вот каким образом я стал ксилофонистом-виртуозом! Или листая сказки Гауфа и братьев Гримм с дореволюционными (ах, дедушка Николай, дедушка Николай!) иллюстрациями, привычно боля, тихо постанывая самому себе, потолку, стенам и на них — клопам и мухам. Как-то в один из таких мрачных дней я сполз кое-как с кровати и, усевшись на мой любимый горшок, несколько перенапрягся (увы, запоры меня мучили с пеленок) — и каков же был мой ужас, когда в горшке вместо моего обычного поносного говна я увидел нечто яркое, розовато-красное, длинное и тяжелое, похожее на неведомое животное, оказавшееся моей собственной прямой кишкой (прошу прощения у дам), выпавшей полностью от чрезмерной слабости, с одной стороны, и излишнего напряжения, с другой! И как тут не пожалеть самого себя! Как тут не запаниковать! Чего я только не делал! Я и запихивал ее назад, но от моих стараний она только разбухала и, казалось, так и лезла наружу, точно каша из волшебного горшочка. Я рыдал и звал на помощь, но куда там! Все было бесполезно, и, главное, я это знал! Вот вам, мои дорогие дети, и моя первая встреча с ОТЧАЯНИЕМ — да минует вас сия чаша — подобный ночной горшок! Так я и просидел на нем со своей кишкой до самого вечера, пока не пришла мать и, перевернув за ноги головой вниз, встряхивая меня, как мешок, не затолкала мою несчастную кишку на место, и я помню, как мать причитала и плакала навзрыд, проклиная судьбу, которая взвалила на ее хилые плечи столько бед и несправедливостей.

* * *

Все. Баста. Генук. Инаф. Финита. ДО-ВО-ЛЬ-НО! Надоело копаться в своем детстве — канючить, пыхтеть, сопеть, плакаться — достойно ли это Прямого потомка Romanoff's — моей пусть незаконнорожденной, но все же Highnes! Так, пожалуй, я не доберусь и до самого важного, того, что меня и толкнуло на это неблагодарное (пока, пока, я надеюсь) занятие — писания оправдательного документа моей непутевой жизни; впереди еще столько всего — событий, людей, вещей, женщин, перемещений,

радостей и путешествий! Еще так много надо сказать, отмочить, загнуть, ляпнуть, так много вспомнить, додумать, доискаться, что голова идет кругом — когда же? Где мне найти время? Силы? Как перебороть свою мерзкую, тяжелую на подъем Лень (ей бы только спать да валяться на диване). Как подхлестнуть костлявую облезлую клячу — Усталость? — эту лошаденку на трясущихся ногах, готовую свалиться где угодно, лишь бы не тащить мою Телегу — Повозку — Карету?! Господи! Призываю Тебя в свидетели — разве я не облегчил как мог этот громоздкий шарабан? Разве я не выкинул из него самое тяжелое, несносное и невыносимое?! Ну, подумаешь, — два-три ругательства, три-четыре взрыва откровенности, пять-шесть непристойностей... Конечно, друзья мои, это не придворный этикет, не самый хороший тон, не самый изысканный вкус, но... Вот вам, дети, еще одно оправдание — меня не воспитывали великие Жуковские, Феты, Достоевские и всякие Победоносцевы (не дай бог!). Ко всему, что у меня имеется сейчас (а, как вам известно, кроме болезней, теории долголетия и еще одной идеи фикс — о ней вы узнаете чуть позже), я не имею ни-че-го — ни дома, ни семьи, ни денег, ни какого-нибудь захудалого автомобиля, не говоря уже о достойном образовании, приличном воспитании и изящных манерах. Итак, ко всему, что я имею сейчас, а также к отсутствию всего, чего у меня нет и никогда уже не будет, я пришел сам, своим маленьким, но настырным умишком. Но как долго я до всего доходил! С каким терпением! С какими муками! И как все могло сократиться, ужаться, какая могучая энергия могла быть сохранена, будь у меня всего-то ничего, какой-нибудь заваливший наставник!

Словом, надежда только на одно: на поучительный опыт, вернее, стиль жизни старых мастеров, которые вставали в пять-шесть утра, работали не спеша до полудня, а потом отправлялись гулять, пить, убивать друг друга на дуэлях, веселиться, любить — счастливчики! У них после насыщенной работы впереди оставался громадный день, — и все-то они успевали! Э-э-э, но позвольте! Ведь это все было в Италии! Или на худой конец в Испании! Или Франции! Где вовсе нет зимы! Где изобилие солнца, света, тепла, фруктов! Полуобнаженных соблазнительных женщин! Живописи! Архитектуры! Где дворцы, роскошные замки и простые неказистые двухэтажные особняки строили, строго учитывая направление ветра, отсутствие каких-либо зловонных испарений или даже просто застойного воздуха! Мой дорогой Альберти! Мои великие, наивные, славные старики — Леонардо, Микеланджело! Мои обожаемые Мантенья и Перуджино! И вы еще на что-то жаловались?! Что-то вам было не по себе! Поистине, все познается в сравнении: я — старый мудак (да, да, это самое что ни на есть наказание Божие — Бога предали, Бога продали, царя убили — так нам и надо!), так вот, я — старый мудак, в чьих жилах, возможно, течет струя благороднейшей крови (да простит мне Господь мое столь понятное тщеславие!), до сих пор — а мне уже за тридцать! — до сих пор НИКОГДА не имел своего угла! Чего же вы хотите от меня, дети мои, если приходится мне даже оправдываться наскоками, урывками, набегам, чиркать чем попало на чем попало — на жалких клочках бумаги. Сейчас, к примеру, сижу я скрюченный в три погибели в маленьком, неудобном номере-комнатушке, отстучав два часа назад своими палками Паганини и Сарасате на грязной сцене бездарного, богом забытого городка, куда забросила меня моя постыдная и постылая работа? Что вы от меня хотите, если вещи мои разбросаны там и сям, мои любимые книжки давно не читаются (я все никак не могу собрать их вместе), мои драгоценные картинки не висят на стенках у меня перед глазами, а сплю я где попало, на чем попало и на ком попало уже лет десять, никак не меньше?!

Правда, иногда я начинал перебирать в мыслях все свои поездки, а среди бумаг фотографии некоторых моих детишек, но, к моему несчастью и острым угрызениям моей совести, через какое-то время моя забота о них куда-то улетучивалась. Я никогда в жизни не писал стихов, но однажды в состоянии подобного «угрызения» меня вдруг что-то пронзило и я даже прослезился! Я тогда почти пять лет с перерывами снимал в Измайлово на 7-й Парковой улице глубокий подвал, и под моим окном, которое находилось на полметра выше моей головы, в какой-то щели все эти годы вила гнездо очень славная птичка — трясогузка. Вот вам, дети мои, это мое самое первое стихотворение, доказывающее (показывающее?) всю мою НЕзаботу о вас:

Птичка под моим окном!
Трясогузочка, кокетка,
день за днем ты об одном:
как бы сыты были детки!

И за пять последних лет
их уже должна быть стая!
Только птенчиков все нет —
арифметика простая.

А возможно, ты и есть
новый птенчик год от года
и несешь благую весть
трясогузкиного рода?

Только все ж сдается мне —
ты одна все эти лета
помнишь о моем окне,
детки же порхают где-то.

Вот и я своих детей
разбросал по весям, градам...
Ни звонков и ни вестей.
Так мне, видимо, и надо.

Ну как тут не прыгать и в моем повествовании то туда, то сюда, то вперед, то назад, да и вообще я подумываю вот о чем: не пропустить ли мне под шумок мое скучное и занудное отрочество — что в нем интересного! Разве что...

* * *

«А не выпить ли тебе водочки?» — спросил меня как-то вечером мой приятель-скрипач (все в той же захудалой гостинице), но так как тогда я чувствовал себя неважно — моя простата ни с того ни с сего (честное, благородное слово!) что-то совсем разнылась, раздулась, как-то даже раскисла и стала отдавать с тошнотворно знакомым чувством эдакого свербения в некоторых местах, — я, чуть подумав, выпить все же отказался, а чтобы мой приятель больше не настаивал, добавил: «От этой маленькой рюмки мой коварный простатит (что уже не раз бывало) может перейти в небольшое воспаление, воспаление — в уретрит; уретрит, чего доброго, — в триппер, а триппер...» — «Да как же это? — вытаращил глаза мой приятель (он был моложе меня лет на десять и верил каждому моему слову). «О-о-о! Чего только не

бывает на свете!» — а сам подумал горестно и обреченно, как думаю всегда, стоит только чему-нибудь разболеться: Господи! А ведь мне еще жить до ста двадцати — ста тридцати лет! Стоило ли мне добровольно взваливать на себя эту тяжкую ношу? Не поторопился ли я с изобретением моей Идеи, которая в одно мгновение переворачивает все теории геронтологов и вообще зачеркивает необходимость во всех их пустых и никчемных исследованиях? Короче говоря, мои друзья, дети, добрые и злые, глупые и умные матери моих детей; мои милейшие, давно и недавно забытые, брошенные и бросившие меня любовницы, а также мои будущие очаровательные избранницы, которым сейчас может быть всего-то годиков пять-шесть (не пугайтесь, бабушки и папы, за своих внучек и дочек — не успеете оглянуться, как промелькнет лет пятнадцать, вы умрете, состаритесь, а ваши внучки и дочки... О-о-о! А мне-то еще и полтинника не будет!).

Итак, если вы хотите жить столько же лет, сколько и я (и так же весело, насыщенно, беспечно и почти безбедно) — а, кстати, заметили ли вы, что я говорю о своем сто тридцатилетии как о вещи само собой разумеющейся, как о чем-то уже свершившемся, уже исполнившемся? И если заметили, то постарайтесь попридержаться это в памяти, — словом (последний раз, вот вам крест!), если вы хотите... и т. д. и т. п., то вам прежде всего, не отходя от этой странички, необходимо обратиться с духом и правдиво (вам это будет легко, если вы читаете ее наедине, без свидетелей) ответить на мои два вопроса, то есть сказать чистую правду, ничего не утаивая и не приукрашивая. Вопрос первый: каков ваш возраст? Вопрос второй: кажется ли вам ваша прожитая жизнь при мгновенном и, как любят выражаться критики, ретроспективном на нее взгляде необыкновенно короткой — таким бессмысленным пшиком, плевком, чихом, отрыжкой, тихим или трескучим «Furz'ем» (язык не поворачивается сказать это по-русски, — благо, немцы всегда относились к физиологическим отправлениям намного проще, чем мы, и придумали слово попримичнее; да к тому же у нас в министерстве культуры совсем недавно царствовала мадам Фурцева — бедные честные немецкие коммунисты! Как им приходилось выкручиваться, когда она приезжала с визитом в ГДР! И как, вероятно, злорадствовали свободные немцы, когда она оказывалась в ФРГ). Ну до чего подходящая фамилия для министра нашей культуры! Или — или... Или — я возвращаюсь к началу моего длинного второго вопроса — или же ваша жизнь кажется вам настолько значительной, долгой, вполне осмысленной и, главное, в такой степени достойной, что вы можете беспечно почивать на лаврах и ожидать от Судьбы новых наград — щедрых и соответствующих вашим доблестным деяниям. Вот вам, как говорится, и все дела. Если вы соврете и не ответите правильно на первый вопрос (есть, между прочим, на свете дамы, завравшиеся до такой степени, что даже в глубине души, сами себе, никогда и ни за что не признаются, что им давно уже за сорок... пять), или же на вопрос второй мгновенно, с негодованием отвергнете первое — такое оскорбительное! — предположение и станете доказывать, что вы прожили вашу жизнь с достоинством, в беззаветном служении Партии и Народу, высоким Идеалам, Любви, Культуре, наконец, как наш упомянутый выше благоухающий министр; что вы так много выстрадали, борясь за светлое будущее трудящихся... И так далее, и так далее... Если все будет именно так, то вам, мои драгоценные, не прожить и того, что вам отпущено судьбой, — непременно что-нибудь случится, и вы скончаетесь раньше времени, а уж если дотянете до своего предела, то в таком неприглядном виде, что не приведи Господь. Но... если же вы сразу — вскочив, если

вы лежали на диване, подпрыгнув, если стояли столбом, вскрикнете: мне уже сорок два! Пятьдесят! Семьдесят! И на второй вопрос, словно только сейчас вам открылась истина, так же недоуменно-радостно воскликнете: «Да-да, точно, — просто плевок какой-то, пшик! Тогда вы спасены — вам теперь надо вникнуть в мой самый главный вопрос: «Сударь (или сударыня), неужели вам трудно еще раз три точно так же «пшикнуть»? И посчитайте-ка: сорок да сорок, да еще сорок — вот вам и сто двадцать; семьдесят и семьдесят — вот и все сто сорок, ну и т.д.!

* * *

Так вот, дорогие мои детишки, жить сто тридцать лет очень печально — ведь если вы не воспримите мою Идею Долгожительства до конца и откажетесь от ваших ста пятидесяти лет, то мне, несчастному старцу, придется хоронить не только вас и ваших детей, а, не дай Бог, и ваших внуков — вот тут-то меня и постигнет самое безнадежное одиночество! Буду я торчать, словно прогнивший пень среди молодой поросли, на который не то что присесть — опереться страшно — того и гляди рассыплется в пыль и прах. О, мудрая старость! О, убеленное сединами спокойствие, пронизательность, неторопливость и степенность в движении, чувствах, словах, освобожденных от бремени страстей! О, божественная ясность и всепрощение! Да существуете ли вы?! Есть ли какое-то спасение даже в самой ранней старости от маразма, склероза, жалкой глупости, суетливой похотливости, от инфантильного («что старый, что малый») садизма, тупого упрямства, эгоистических капризов, беспочвенных подозрений, бессмысленной жадности, недержания речи, гнева, слез, мочи... И можно ли сойти в гроб спокойно, смиренно, с благодарностью помолившись Господу, даже радостно и торжественно, сознавая не только неотвратимость этого уникального момента, но и неведомую необходимость перехода, скачка, взрыва, распыления, растворения, воскрешения или, наконец, достижения Абсолюта, совершеннейшего НИЧТО??!!

«Можно, непременно можно!» — толкает меня в бок моя теория, правда, не совсем уверенно, но с некоторой надеждой. «Да куда там!» — уныло и обреченно отвечает мое уставшее тело, по которому, словно по громоздкому довоенному ламповому приемнику, медленно, заходя во все потаенные уголки, тут же начинает протекать ток противной боли, смешанной с настырной сутью моей идеи — где-то задерживается, где-то муторно потрескивает, где-то перекаливает за счет перегоревшей лампы другую, рассчитанную на меньшее напряжение... Но нет! Как только лампы нагрелись и налились током, приемник зашипел, запыхтел, загудел... «Держись! — радостно вопит моя теория и подхлестывает Дух. — Мы еще починимся! Сменим устаревшие лампы на транзисторы! Заменяем каркас, ремонтируем и утрамбуем кишочки, подберем новую шкалу, закажем в Японии новенькие динамики и...» — «Да, да!» — кричит в ответ, радостно всхлипывая, точно ребенок после горькой истерики, помолодевшее тело и на самом деле начинает полегоньку перестраиваться, крепнуть, подсыхать, худеть, вытягиваться в струнку и наливаясь соками прямо на глазах, как тропическое растение после ливня! И мир снова становится добрым и прекрасным, а жизнь — радостной и полной надежд! Только, друзья мои, как же быть со стариком Альберти? С итальянскими мастерами? С могучими дубами Возрождения? Со зловонными испарениями и концертами в ядовитых городах — Магнитогорске, Челябинске, Мончегорске, Караганде, Семипалатинске?... Как быть с южной стороной, свежим ветерком, круглым летом,

вечным солнцем, просторной мастерской, креслом-качалкой, загорелыми женщинами, моим шарабаном, который еле тащится, и, главное, как быть со сладчайшей... Но... Нет! Н Е Т!!! Еще не время раскрывать мою главную Тайну, мою самую сладкую Мечту, без осуществления которой я вряд ли дотяну и до семидесяти, несмотря на то, что моя замечательная идея долголетия не зависит ни от каких побочных явлений — просто мое Свободное Воображение пристегнуло намертво к моей Идее мою главную Тайну, и они вот уже лет пятнадцать, как гоголевская тройка, скачут вместе черт знает в какую пропасть, в неведомое Тартарары.

* * *

И все-таки... И все-таки так и подмывает меня еще разика два окунуться в чистый азиатский арык моего детства, с обеих сторон которого когда-то прохладно шелестели серебристые тополи — увы, тополи уже давно не шелестят, а потрескивают да постукивают голыми, сухими ветками, похожими на обглоданные ветром ребра дохлого верблюда в пустыне. А воды зато прибавилось, но и тут, дети мои, все не то и не так — вода стала совсем грязной и вонючей... Нет, нет! Что вы! Я совсем не брюзжу, как старик: «Вот в наше время...» Вовсе нет. **НО Я БЫЛ ТАМ СОВСЕМ НЕДАВНО.** Подошел — и как на представлении факира — **НЕТУ! НИЧЕГО НЕТ!** «Засрали двор, настроили сараев...» — как сказал поэт. Все снесли, все мое детство срыли бульдозером, сровняли лопатами, залили асфальтом. Но я-то все вижу — вот здесь, перед глазами — каждую травинку, каждый булыжник, даже болты на старых воротах могу пересчитать по пальцам! Господи! Ну вот же он, весь мой двор, вот он, мой квартал, как на ладони, с каждым втоптанном в землю кирпичом, о которые не раз я сбивал пальцы в кровь, с каждой ямкой, холмиком, со всеми помойками и мусорными ящиками, деревьями, кустами, зарослями крапивы и лопуха, разбитыми сарайчиками и безобразными дощатыми туалетами, на крышах которых скворечниками торчали квадратные деревянные вентиляционные трубы... Боже, где все это? Где? Ах, Настя, Настя! Вот так и ты торчишь у меня перед глазами уже пятнадцать лет, молоденькой парикмахершей, снишься мне иногда той, что была давным-давно, — прелестной истеричкой, порочной садисткой, сладкой гадиной, паникершей, интриганкой — ты-то куда подевалась?! Какие бульдозеры трудились над тобой, что превратилась ты в чудовище — жирную, большеголовую, с оплывшим лицом-лопатой, — в наглую и страшную бабу? И — о, человеческая глупость и тщеславие! — ты продолжаешь думать, что все твои старые уловки действуют на меня так же безотказно, как пятнадцать лет назад! Дражайшая Анастасия Петровна! При нашей последней встрече я с удовольствием подыгрывал тебе и — да простит меня Господь — обманывал тебя безо всякого злого умысла, а ты и не видела этого вовсе — только еще больше раздавалась вширь от самодовольства, напирала на меня всей своей тушей и не хохотала заливисто-заразительно, как это было в наши далекие времена, а ржала, как бегемот, показывая мне всю свою пасть с черными пломбами и золотыми фиксами. Но кто может сказать, что это все такое?! Тоска? Ностальгия? Но по кому? По чему? По призраку? По мгновению? Но ведь я до сих пор иногда просыпаюсь ночами в восторженном неверии, что я только сию секунду держал в объятиях ее — мою любовь пятнадцатилетней давности, хотя Настю-Бегемота я видел всего-то полтора года назад. Но тогда — кого держал? Чьи волосы гладил? По кому проливал горючие слезы — я — тридцатидвухлетний? Что за напасть такая! Что за чертовщина?! Ах, мой дворик, мой дворик! Мое урючное дерево! Мои заросли

малины! Ах ты, моя Настенька! Нет! Не может быть, чтобы все это уже не существовало! Весь асфальт и железобетон новых кварталов; вся дебелисть, бесформенность, глупость, уродство, хамство моей постаревшей Настеньки — все это Подмена! Подделка! Обман! Чистое Надувательство! НАГЛЫЕ ПРОДЕЛКИ ДЬЯВОЛА!!! Я верю, да, я свято верю, что либо я когда-нибудь так и останусь в своем сне — в моем стареньком дворике с моей молодой богиней Настенькой (то есть усну и уже никогда не проснусь) — либо овеещствлю свою зыбкую мечту еще в этом мире, переведу ее из своего воображения и сна в мою собственную реальность — сделаю мой дворик с моей Настенькой зримыми по меньшей мере для одного себя, то есть, мягко говоря — просто-напросто сойду с ума.

* * *

Через полгода после визита моей подурневшей Настеньки в мой подвал случилась совсем уж для меня неприятная история — меня обокрала моя подвальная хозяйка, вынесла все, что там было, но главное, мой портфель с бумагами, фотографиями и письмом отца! И я остался в тапочках, старых джинсах и майке — в таком виде я пошел искать такси, чтобы переехать в «нормальную» комнату, которую я снял на Плющихе. И вот тогда меня второй раз в жизни хоть как-то поддержала Поэзия — в полном отчаянии я написал свой второй (и, надеюсь, последний) стих. Я назвал его «Сонетом»:

Вот ты увидишь — вдруг настанет миг,
когда ты потеряешь след и нить,
и память первых жен и лучших книг
придется вмиг тебе похоронить.

И станешь, горемыка мой, считать
по пальцам на руке своей живых,
всех любящих тебя. И только мать
останется мизинцем среди них.

Ты кинешься смотреть забытый фильм
из фотографий, писем и бумаг,
но твой сосед уже стащил в утиль
тугой портфель, чтоб выручить пятак.

Все сны похорони в одно мгновение
и понеси свой крест — ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Вот так я остался не только без всего, но и без последнего, пусть эфемерного, но реального документа моей ВОЗМОЖНОЙ РОДОСЛОВНОЙ. Честно признаюсь — до сего дня я скорблю об этой невозполнимой потере.

* * *

Но вернемся к нашему «креслу эпохи XVIII века» — насколько мне не изменяет память, следует признаться, что с самых первых шагов в моей личной (точнее — приватной) жизни, когда оно еще было новехоньким и сияло, словно надраенный кирпичом самовар, в моем характере уже проявились все те разрушительные качества, которые и привели меня к столь плачевному состоянию в настоящем, как то:

неутолимая страсть к путешествиям и всяческим переменам, еще более неутолимый интерес к сексу и болезненно-обостренное чувство правды и справедливости. Бог мой! Да разве можно жить в России с такими порочными, с такими — как бы сказали в двадцатых годах — перверсными наклонностями? Уже в пять лет я был ярко выраженным сексуальным маньяком — когда я не был заперт дома из-за бесчисленных болезней, я буквально дня не мог прожить без своего детского сада, чтобы досыта, всласть, до головокружения не насмотреться на опьяняющий розоватый, пухлый пирожочек, заманчиво и выпукло прилепившийся под нежным животиком моей детсадовской подружки Люси: каждое утро я караулил момент, когда она надевала форменные трусики (какое счастье, что нас считали совсем глупыми и позволяли переодеваться всем вместе!) — я с дрожью ждал эти минуты, как бы случайно оказывался рядом, полегоньку оттеснял глупую Люсеньку в полутемный угол беседки и там заставлял ее показывать мне все ее драгоценные прелести в мельчайших подробностях; Я рвался в детский сад, я несся туда на крыльях удивления и восторга только ради этих утренних минут в беседке, да коротких суетливых столкновений и встреч в коридорах, в саду, в кустах или в спальне. О, да, я был влюблен страстно, упоительно, но... не в мою милую и покорную Люсеньку, нет! — я грезил, бредил, видел во сне и наяву только нежно-розовые, сочные и мягкие лепестки ее продолговатого, набухшего бутона, только ее теплый волшебный кошелек со всякими неведомыми тайнами, эту живую алозамшевую копилку... Вот так с тех самых пор все мироздание, начиная с Люсеньки и заканчивая всеми возможными и невозможными катаклизмами, сконцентрировалось у меня, как солнечные лучи при помощи линзы, в этой таинственной и загадочной орхидее, в этой ласковой, манящей, как бездонная пропасть, хищной, жадной и ненасытной актинии!.. Ах, дети мои! Вот вам, по крайней мере, главная из совокупности тех причин, по которым вы появились на свет, и скорее вы должны винить ту яркую люльку, в которой вас нашел аист, а не самого аиста.

Первое самостоятельное путешествие я совершил в два с половиной года. Мама уехала на курорт, а двоюродная сестра, которую оставили со мной, сказала мне, что мама ушла к тете Рите, которую мы с мамой часто навещали. Это было летом, за две недели до начала войны, я был босиком, без трусиков и в рубашонке до колен. Я прошел весь путь по самым диким местам нашей «малой станицы», протопал мимо ужасного зверинца, пересек весь громадный ПАРК КУЛЬТУРЫ и, только выйдя к остановке трамвая, увидев толпу людей и громыхающие вагоны, разревелся и был препровожден в ближайшее отделение милиции. Через год после моего первого путешествия — в самый голодный год войны — я увязался за группой «почти взрослых» 6—7-летних ребяташек и вместе с ними «пошел в горы за дровами, боярышником, барбарисом и диким чесноком», пропадал с ними целый день и почти ночью с гордостью вернулся домой, волоча за собой сухую палку, будучи уверен, что за все мои страдания — сбитые ноги, пройденные километры и, главное, добытые «дрова» — удостоюсь материнской благодарности, но был ею безжалостно высечен на глазах у всей улицы, уже собравшейся идти на наши поиски. С тех самых пор моя жизнь — сплошное бегство, нескончаемые мытарства, грязная и пестрая цыганщина. С тех пор неустанно мотаюсь я по дозволенной мне нашими «великими человеколюбцами» территории в одну шестую часть света под трескучий аккомпанемент великих Паганини, Моцарта, Сарасатэ, Листа и проч., молясь каждый день, каждую ночь вот уже больше десяти лет о том мгновении, когда, наконец-то, я

окажусь в любой точке земного шара «по ту сторону баррикад добра и зла», где, по меньшей мере, я обрету душевный покой. О, Господи! Да поверит ли кто, что человек, дурак дураком проживший тридцать два года, нищий, бездомный, всю жизнь обиравый тупым и безжалостным Гангстером-Государством, — поверит ли кто, что больной, стареющий, лысеющий, обремененный детьми и, как водится, долгами человек, не наживший ни кола, ни двора, ни денег, ни положения (чего стоит гастрольная гонка по городам и весям совдепии российского крепостного артиста-фигляра с неизменной ставкой 8 р. за выступление?!) каждый час, каждую минуту думает только об одном — Бежать! Бежать!! Бежать!!! Но куда? Зачем? Для чего? К кому?! (Ах, дети мои, спросите лучше — от чего? от кого?) Нет, чтобы остепениться, успокоиться, в третий (или в пятый?) раз жениться, завести нормальную семью, занять какое-то положение в обществе, словом, стать наконец человеком! Куда там! Как в два года потопал невесть куда без штанов, так без порток околеешь где-нибудь на грязной обочине, переезжая в расхлябанном автобусе из одного богом забытом городишки в другой, или «подохнешь в своем вонючем подвале!» — браво, Настенька, как это ты метко, однако, заметила в порыве гнева во время нашей последней встречи! Вот блестящий и весьма возможный конец всех твоих глупых походов.

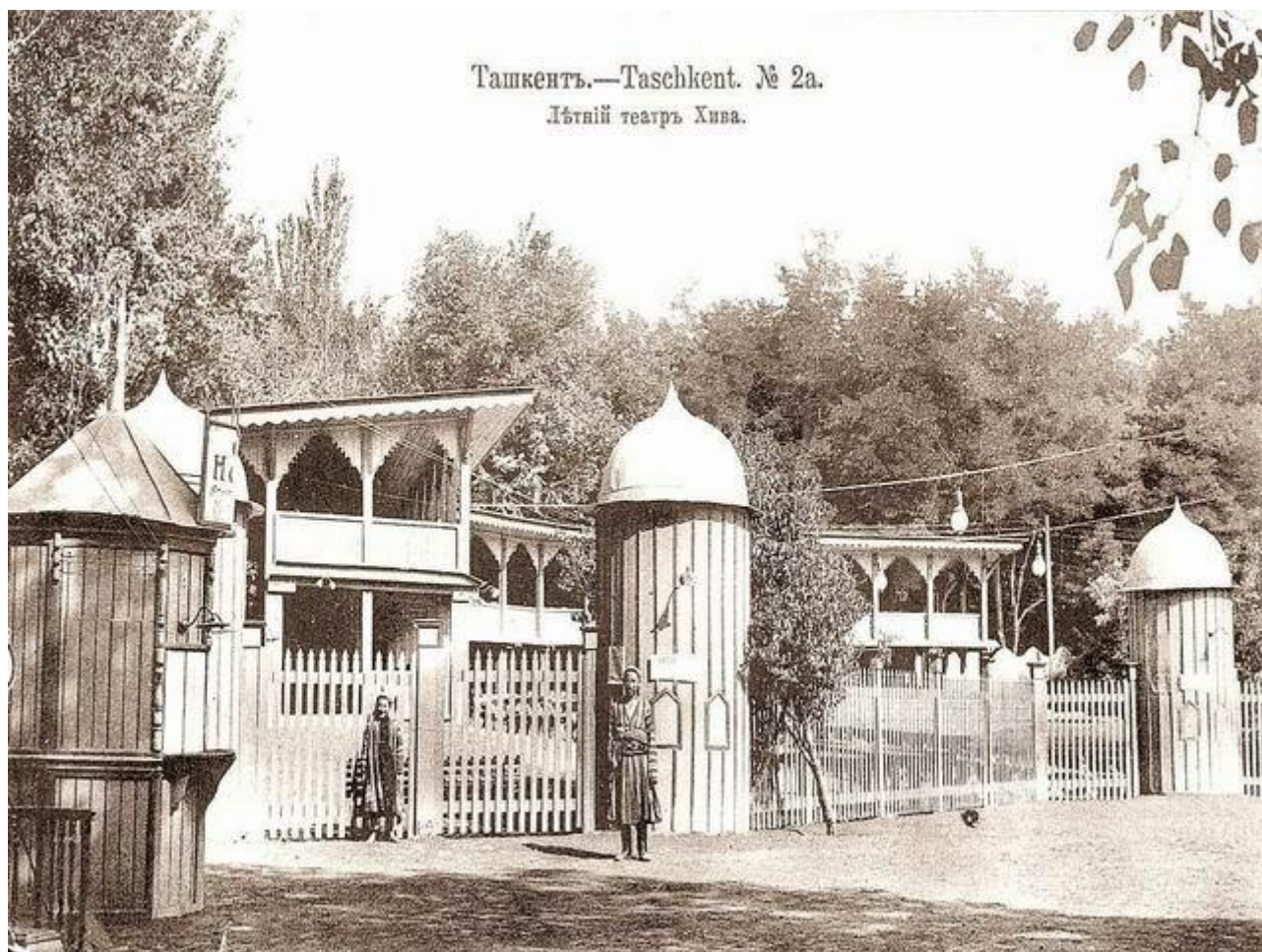
Но, мои дорогие детишки, пора наконец сказать и о Величайшей Привилегии, которую мне дало веселенькое и прекошмарнейшее детство: с самых пеленок, из самого первого ряда партера, почти совсем как небезызвестный внучек мифического Каширского дедушки, я всласть насмотрелся на самое низкое и откровенное людское зверство! Как я помню свирепые драки, кровавые избиения, грязную ругань, убийства и неудержимую, патологическую злобу! Как ясно и четко я вижу сейчас чудовищную сцену, свидетелем которой я оказался от начала и до конца: разъяренная толпа на моих глазах догнала толстую рыхлую воровку с маленькой девочкой на руках — я бодро шагнул из детского сада по пыльной дороге, ярко светило вечернее солнце, и вдруг — крики, визг, вой, плач ребенка, потоки крови... Клубок мерзких тел злобно, поспешно, с трусливой отвагой и плотоядным вожделением торопящегося к оргазму насильника, — ногтями, зубами, камнями, палками, вилками, у кого что было, злорадно крякая и матерясь, разрывал на части громадную окровавленную, уже голую тушу воровки и ее детеныша. Через пять минут все было кончено — все разбежались, отряхивая с рук кровь и выдранные волосы, а передо мной — я стоял столбом с выпученными глазами — с последним вздохом забитого камнями мамонта скончалась разодранная в клочья женщина — смутное подобие человека, все еще прижимая к себе такой же растерзанный, искореженный трупик ребенка. Так я впервые встретился с дружным коллективом и, должен признаться, что на всю жизнь получил мощный заряд гадливого отвращения к любому скопищу человеческих особей, объединенных какой-либо общей идеей.

Еще очень ярко запомнилась мне другая удивительная история, произошедшая в доме моей тетушки как раз в то время, когда мы с мамой и сестрой вернулись из неудачной поездки в северный Казахстан (о чем см. ниже), — она мне казалась еще более волнующей оттого, что вместе с Кровью в ней была густо замешана Похоть. Во втором подъезде тетушкиного дома со стороны сада жили две семьи, состоявшие из одних женщин — мать с дочкой и мать с двумя дочками. Первая — бухарская еврейка — толстая, мрачная, разукрашенная дама с дочкой Сарой тринадцати лет от обрусевшего татарина, который их давно бросил. Все это выяснилось потом и

запечатлелось в моей памяти навечно. Вторая — очень красивая, рослая, сравнительно молодая блондинка с двумя девочками примерно моих лет, овдовевшая в последний год войны и еще не успевшая выйти замуж вторично. Самым замечательным лицом в этой истории оказалась Сара. Я довольно часто играл с ней в нашем запущенном саду — плотная, узкоглазая, молчаливая, жестоко-улыбчивая девочка, скромная и незаметная; всегда как-то снисходительно начинала играть с нами — восьми-девятилетними — в волейбол, но потом разгоралась, распаривалась, входила в раж, и была она вся какой-то терпкой, потной, коварно повизгивающей и к концу игры страшноватой, точно сбесившаяся живая бомбочка, готовая взорваться в любое мгновение. И вот однажды у матери Сары появился любовник — нищий, жилистый, молодой художник — обычный альфонс, каких немало встречается среди особей этого племени. Жили мама с дочкой Сарой, как мы уже знаем, в одной тесной комнате, и любовные игры жеребца-художника с пышной белотелой мамашей происходили на глазах у впечатлительной, давно «поспевшей» Сары, изнемогавшей от страсти и вожделения. Не прошло и месяца, как Сара стала любовницей живописца. После нескольких неистовых баталий между матерью, Сарой и художником в семье восстановился более или менее прочный мир, и они зажили припеваючи вместе — художник оказался на высоте и удовлетворял обеих. Но в провинциальном городке мало настоящих мужчин, как и настоящих женщин — встреча красивой вдовы и неумного жеребца, знающего толк в перспективе, была неизбежной, и они, встретившись на общем крылечке, полюбили друг друга с первого взгляда. Составился нетрадиционный четырехугольник, и развязка наступила, как только Сара с матерью почувствовали неладное. Однажды в отсутствие художника, вдова была приглашена на пельмени, дружеская беседа затянулась далеко за полночь, было выпито изрядное количество вина, и заботливая Сара вызвалась проводить красивую соседку до туалета, стоявшего в глухом углу сада. Но высокая блондинка только успела спуститься на две ступеньки гнилого крыльца и сравняться ростом с низкорослой Сарой. Приготовленным заранее топором Сара надвое раскроила вдове череп и в ярости еще нанесла ей около двадцати ударов. Мать Сары торжествовала недолго — как потом выяснилось, на убийство вдовы натолкнула дочку она — одним ударом она избавлялась от двух соперниц. Но Сара недаром унаследовала вместе с еврейской хитростью татарскую злобу и коварство: она вернулась в дом и рубанула прямо по рукам и лицу оравшую от ужаса мать, но ее не убила, а только изуродовала, и на скамье подсудимых та сидела вся обмотанная бинтами.

Дальше было проще: обычные драки и необычные — с поножовщиной и проломленными камнями черепами (каменей в Азии, что песка в Сахаре), убийства, самоубийства, утопленники и висельники — обычные жертвы злобного насилия военных лет. Было и другое — местного, так сказать, разлива — целые войны из-за воды для поливки огородов. Тут сходились кварталы на кварталы, бились громадными текменями-тяпками — тяжелыми, стальными, острыми... Мне случилось однажды увидеть совсем близко, как такая тяпка с размаху врезалась в загорелую спину оступившегося мужика, с хрустом перерубив ему позвоночник и левую лопатку. Несчастного бросили тут же в ярком черно-красном месиве грязи, крови и мяса, и победившая сторона побежала отворачивать воду на свои огороды. Вот так, дети, — крепитесь, мужайтесь, терпите все на свете напасти и утешайтесь только тем, что ваш отец прожил детство в такой нищете и таком кошмаре, какие вам

и не снились. Да и на самом деле — что я могу? Что я могу? Остается только одно: продолжать оправдываться.



* * *

Нет, вы только подумайте — какая коварная насмешка судьбы! Самым большим преступлением в нашей семье была ложь! Это ли не издевательство! В то время, когда молодая совдепия рьяно трудилась над выведением новой породы людишек, удобных и удобоваримых для желудка обезумевшей Империи Палачей и Жертв (эдакая гигантская рыхлая плотоядная татарско-еврейская Сара с крысиными глазками и громадным топором), когда «большинство населения» с немислимой доселе рьяностью, паническим и лихим бесстыдством безбожно и нагло ввали, продавали и предавали, когда любой намек на правду, даже бледная тень ее карались смертью или погребением заживо, — в нашей крохотной общине за малейшее искажение истины, за любой самый невинный обман провинившийся подвергался беспощадному бойкоту, что было намного страшнее всякой ременно-веревочной экзекуции, — наша мать была изощреннейшим иезуитом, когда дело касалось наказания за этот, по ее мнению, наиболее гнусный человеческий порок. Несчастливая женщина! Всю жизнь прожить честно среди несметного количества воров, убийц, спекулянтов, трусов, негодяев и предателей! Она готова была умереть сама, уморить детей, но только не пойти ни на какую сделку со своей совестью! Да разве это мыслимо, разве это под силу одинокой женщине, обремененной детьми, голодом, болезнями, нищетой и адской круглосуточной работой? В ее бедной головке перемешалось все — и идеалы русских классиков, которыми она страстно пичкала своих учеников, и христианство, тайно хранимое по наследству от отца, деда, и прадеда — священников с XVIII века, и вера в

«правильный» социализм с неизбежным торжеством Истины, Добра и Справедливости, и даже слепая убежденность в том, что все мерзости и ужасы тогдашней жизни были просто необходимы для полной победы над фашистами. Как-то утром мы увидели нашу красивую маму совсем седой. Ночью в наш маленький дом через подвал влезли воры, и мать, застывшая от ужаса, пролежала с закрытыми глазами больше часа, моля Бога только о том, чтобы никто из нас не проснулся. Бандиты знали, что она не спит, и приняли ее игру — один из них, мерзко пошучивая, стоял над нами с топором в руках, пока второй шарил по комодам и вытаскивал на крыльцо жалкие пожитки: отцов костюм, хлебные карточки, старые пустые шкатулки, сломанные часы и еще какую-то дребедень. Стоило мне или сестре открыть глаза и заорать от страха, вас бы, мои милые детишки, не было бы на свете, а моя невинная душа вернулась бы назад в ангельский сонм, и уже не было бы необходимости перед кем-либо оправдываться по крайней мере до следующего воплощения. Но — удивительно! Через два месяца нас снова начисто ограбили — стало быть, кому-то в то время было не слаще, чем нам, если наш оставшийся хлам явился предметом налета — бедняги вынесли даже обычные советские стулья и шкаф с клопами. Это произошло почти днем, ближе к вечеру, я как раз возвратился из детского сада, и снова у дверей был оставлен топор. Войди я не вовремя, нас с вами ждала бы все та же неведомая участь — небытие.

Но самое жестокое воровство, повергшее всю нашу семью в полное отчаяние, произошло осенью перед предпоследней, самой суровой зимой войны. В доме было праздничное настроение — мы с нетерпением ждали следующего утра: после тяжелого лета (все эти споры-драки за воду, изнурительный ночной труд, прополка под палящим солнцем, и снова поливка, поливка, поливка...) надо было выкапывать картошку, уродившуюся на славу — сколько надежд на нее возлагалось! Встали мы все очень рано — мне четыре с половиной года, сестре — семь лет, маме — тридцать три с половиной — и с нетерпением выскочили из дома на крыльцо. Сначала ничего не поняли, потом остолбенели — мама побежала в огород, заметалась, застонала и, упав на землю, забилась в рыданиях: за ночь вся картошка до единой была кем-то выкопана. Бог мой! Нас ожидала беспросветная голодная зима.

* * *

Но несчастья продолжали сыпаться на мою бедную мать как из рога изобилия, а она все никак не могла уразуметь, за какие грехи ей приходится расплачиваться, и только по вечерам, обхватив голову руками, раскачивалась перед коптилкой и горестно и монотонно выстанывала: «Господи, за что же это?! За что, Господи?!» Вскоре после всех ограблений (в доме остались голые стены, железная кровать с никуда не годным тряпьем да громадный дубовый стол в столовой, купленный отцом перед самой войной специально для того, чтобы мы все забирались под него, как только начинались ураганы и землетрясения, почему-то участвовавшие в то время в нашем предгорном городишке) местные власти уговорили маму сдать маленькую комнатку семье эвакуированных евреев из какого-то южного местечкового городка — то ли Бердичева, то ли Крыжополя. Сначала их было трое — муж, жена и дочка лет семи по имени Елка. Я все ждал Нового года и того момента, когда наконец произойдет эта неминуемая и загадочная метаморфоза, и на нее начнут вешать игрушки. В первый же день они набили всю комнату колбасой, сырами, консервами, сухарями и баранками; колбаса и окорока висели у них по стенам, и в комнате стоял

дурманящий, головокружительный запах мяса и пряностей. Вот тут-то и начались наши страдания и их развлечения. «Хочешь поесть колбаски, мальчик?» — елебно спрашивала мама Хая, как только я — голодный щенок — оказывался у них в дверях. «Хочу!» — пищал я, дрожа и глотая слюни. «А хочешь погрызть баганку (т. е. погрызть баранку)?» — спрашивал меня папа Яша. «ХОЧУ!» — выдыхал я, не веря ни глазам своим, ни ушам и жадно протягивал руку. «Мы тоже хотим!» — отвечали они хором и смеялись до слез. Тут папа Яша таращил глаза и грозил пальцем; «Это очень догого! Иди, попгоси у мамы денег, тогда дадим». Я был слишком мал — обида, гордость, достоинство, уязвленное самолюбие — все это было тогда мне неведомо, — я хотел только одного — есть! Я бежал к матери, плакал, выклянчивал деньги, которых у нее не было даже на одну баранку, а мать, в свою очередь, кидалась к ним, стыдила их как могла, умоляла их меня не дразнить и сама рыдала от беспомощности. Они же смеялись ей в лицо, откровенно и нагло презирая ее за нищету, глупость и упрямство — извечные пороки неделовых людей.

Месяца через три наша маленькая еврейская община провела блестящую и блиц-двляющуюся операцию по захвату наших территорий — в наше отсутствие коварные квартиранты заняли весь наш дом, вытеснив нас со всеми тряпками, железной кроватью и дубовым столом в темную кухню-прихожую, а пока мы с мамой и сестрой лениво плелись из детского сада, успели, словно наши будущие подвальные кролики, расплодиться втрое — появились, как из-под земли, престарелые бабы Розы, дяди Гарики с жирными женами, дедушка Ицром, две-три новые Елки и какой-то представитель власти — явно родственник или земляк. Они встретили нас на крыльце, первыми заголосили, завыли, — кто бил себя в грудь, кто рвал на себе волосы, а одна из жирных жен театрально упала в обморок прямо на подставленную мужем табуретку. И тут вся орава накинулась на мою остолбеневшую мать, обвиняя ее во всех смертных грехах, напирая в основном на воровство колбас и окороков; «представитель власти» размахивал бумагами, где черным по белому было сказано, что мы здесь «вообще никто». Я помню всю эту сцену в деталях, и, Боже!, как часто я наблюдал потом нечто похожее совсем рядом! И сколько раз доносилось до меня эхо подобных баталий, увеличенных до масштабов государств и континентов из самых отдаленных уголков земли или со страниц истории глупого и жадного человечества! Господи! Имеет ли пределы Человеческая Наглость — циничная, беспардонная, безнаказанная, сокрушительная и мерзкая, как татарская конница на Руси, тупая и неумолимая, как Берлинская стена и безжалостная, как наши танки в Чехословакии, как... как... Но я задыхаюсь от бессилия и отчаяния... Безнадежно! Все безнадежно! — вопит моя душа, как только я слышу или произношу это страшное слово — НАГЛОСТЬ. Но куда же от нее деться? Куда бежать? Как спастись?!

* * *

Все. Уже не спастись. Некуда бежать. И скрыться некуда. Поздно. И не есть ли мы сами уродливое детище Наглости? Все вышло из ее зловонного чрева: один урод породил другого. Наглый, самодовольный, невежественный лакей, убивший своего господина, надругавшийся над Богом, казнивший Царя, засравший алтари, испоганивший церкви, разграбивший дворцы и имения, разодравший на подтирки драгоценнейшие фолианты из господской библиотеки... Мертвой хваткой вцепился этот мстительный и подлый холоп в кресло своего бывшего хозяина и, упиваясь свалившейся на него властью, надрывным криком уверяет себя и других, будто

исполнилась наконец мечта всех холопов — «кто был ничем, тот станет всем», наконец-то он Сам стал Хозяином! Нет, братец, дудки, врешь — как был ты «хамовым племенем» — рабом, подлизой, вором и негодяем, — так им и остался и расплзаешься сейчас, как гадюшный выводок, по всей России — грабить ее дальше, так и норovia просочиться во все уголки старого и нового света, чтобы с лицемерным ядовитым шипением распространять Наглую, Безмерно Наглую Ложь, будто начал ты своими убийствами и воровством Новую Эру на нашей глупой и доверчивой Земле. Моя бедная мать! Она кинулась в дом — ее оттолкнули — мы заревели, закричали, а она бросилась бежать за правдой, справедливостью и защитой, не зная, где искать эти зыбкие, тощие призраки, не ведая, кого призывать в свидетели, кому кидаться в ноги. Она неслась по затверженному маршруту в свою школу к таким же, как она, учительшкам — глупым, слабым, запуганным и никому не нужным. Но...

Всемогущий Господь смилостивился наконец над моей матерью! У входа в школу она наткнулась на одного из бывших учеников моего отца, тот с трудом узнал ее, охнул, услышав новость, и побежал звать своих дружков. Через двадцать минут наши захватчики вместе с «представителем власти» без привычных воплей, страшно напуганные, вылетели из дома, а наша роскошная мебель была водворена на место. Часть колбасы, баранок и окороков, «экспроприированную» у квартирантов, наши спасители насильно всучили моей не в меру щепетильной матери, и с тех пор мы зажили по-царски, осененные лучами отцовской славы — местные хулиганы (самые отчаянные из них оказались учениками моего отца) взяли над нами шефство: зимой привозились дрова, весной копались грядки, летом вода на нашем огороде лилась рекой безо всяких очередей и ограничений, а как-то однажды застенчивый бандит запустил в наш подвал пару здоровенных кроликов, которые до самого конца войны усердно и быстро размножались, бесперебойно поставляя нам свое нежное мясо и шкурки на пальтишки и шапки.

* * *

Но жизнь, как известно, многообразна, непредсказуема и порой до ужаса невероятна. Можно не поверить в то, что случилось месяца через два после изгнания евреев из нашего убогого «Египта», но то, что произошло, — чистая правда. Маму вызвали в Гороно и настойчиво попросили принять в нашу маленькую комнатку новую семью эвакуированных — мать с дочкой. Мама, естественно, согласилась, но когда услышала, что ее новую квартирантку — ассистентку режиссера киностудии «Мосфильм» — зовут Циля Израилевна, а дочку — Ирит! — мама побелела и чудом не потеряла сознание. В Гороно уже знали о попытке захвата дома и очень долго и сердечно объясняли моей несчастной матери, какая интеллигентная и благородная женщина Циля Израилевна. И на самом деле, Циля Израилевна оказалась удивительной, веселой, добрейшей женщиной (ей тогда не было и тридцати!), а Ирит мы тут же стали звать Ритой маленькой (моя сестра Рита старше меня на два года, а я был старше Ирит на год). Сейчас никто не поверит, что во время войны детям разрешали ходить в детский сад самими, без родителей. Конечно, зимой — а все военные зимы даже в Средней Азии были необычайно суровы — мама сажала нас с сестрой на санки и тащила в детский сад к семи часам утра, иначе она никак не успевала вовремя попасть в свою первую школу, и мы с сестрой больше часа отогревались в душной комнатенке сторожа. Зато весной и летом — полная благодать! В детский сад я ходил либо с сестрой (пока она не пошла в школу), либо с моим

соседом Шуриком, либо один. А когда к нам подселась Циля Израилевна, я стал, как старший, водить туда Риту маленькую. Окраина нашего города, где мы жили, была похожа на деревню — у всех были куры, козы, а у некоторых, самых богатых — коровы, они паслись тут же, на дороге. Однажды такая корова поперла довольно агрессивно на маленькую Риту, и я — пятилетний тореадор — бросился ее защищать. Корова боднула меня (слава Богу, я оказался у нее между рогов) и перекинула мое тельце через себя — удивительно, что я до сих пор помню каждую секунду этого происшествия! — я, как заправский акробат, приземлился без всяких потерь, и хозяева коровы нас задарили всякими вкусностями, чтобы избежать скандала. Так в пять с половиной лет я впервые стал Героем в масштабах нашей «Малой станицы». После войны Циля Израилевна все время переписывалась с мамой, мама ее очень любила, а когда я (лет через двадцать) первый раз попал в Москву, наша бывшая квартирантка со своим мужем приютили меня как самого дорогого гостя на целые две недели! «Маленькая Рита» к тому времени вышла замуж и уехала в Ригу, но мой «подвиг» остался навсегда в анналах истории этой замечательной еврейской семьи.

В моей детсадовской жизни произошла еще одна удивительная история, возможно приоткрывающая одну из главных загадок истории всего человечества. Два мерзких сопливых существа — братья Сокольские (я никогда не забуду этих шестилетних уродов) — терроризировали весь наш детский сад. То ли их родители занимали какие-то посты, то ли считалось, что дети сами должны разбираться в своих проблемах, но их откровенный садизм всегда оказывался безнаказанным. Однажды, подходя к детскому саду, я предложил моему другу и соседу Шурику объявить всем в детском саду, что к нам приехал Брат Великан! И что в любой момент мы можем его позвать, и он прилетит и накажет любого нашего обидчика! Ростом он выше тополя, а одной только ладошкой он может прихлопнуть два домика нашего детского сада! Это заявление я произнес уверенно и угрожающе — в сторону двух придурков Сокольских. С этого момента хозяевами детского сада стали мы с Шуриком, благодаря Безграничной Власти нашего Непобедимого Брата Великана, который, как дух святой, был с этого дня всегда с нами. Не так ли, примерно, когда человечество только-только вышло из яслей и проходило детсадовскую стадию, Авраам и Моисей с Аароном придумали своего Всемогущего Брата-Великана и посрамили всех тогдашних сопливых и доверчивых «филистимлян — Сокольских»? Увы, никто никогда не узнает этой величайшей Тайны!

* * *

Через год после окончания войны мне приснился яркий сон, я помню его до сих пор — под дробь барабанов, пронзительный веер тромбонов и труб и под глухие и мощные удары моих любимых литавр я — размалеванная циркачка в кокетливой детской юбчонке — вскакиваю на плотную лошадку с круглым задом офицерской жены и под выстрелы бича и любимый вальс дрессировщика вылетаю на грязную арену, уже загаженную плотными, как теннисные мячи, шарами конского навоза. Но что это? Циркачка взвизгивает — всплескивает руками — подпрыгивает до потолка — издает вопль восторга! И я — семилетний оборвыш — лечу на кучу еще теплых, рассыпчатых, как вываленная из чугунок картошка, этих самых лошадиных катыхов. Тут необходимо небольшое объяснение. Исстрадавшийся народ ждал, жаждал, вымаливал, требовал наступления немедленного и безоговорочного Рая — кончилась война, а его все не было. Радость

победы потихоньку забывалась, изможденные лица вытягивались в унылом и горестном недоумении: как же так? Война кончилась, а где же?.. И когда же?.. Да и будет ли?.. А на перекрестках уже голосили в истерике калеки, ставшие от полной никому не нужности горькими алкоголиками, — рвали на себе рубашки, волосы — «Да я ж, бля, кровь проливал!.. Да я ж!..» И мама всегда спешила обойти несчастного, закрывая нас от него подолом. Вернулся и отец, и, конечно же, его приезд перевернул всю нашу жизнь. Теперь я каждую ночь с нетерпением и мистическим недоверием ждал наступления утра, чтобы убедиться в натуральности и плотскости этого божества, призрака, фантома, этого гигантского монумента, поскольку привычное и несбыточное «вот когда вернется папа...», «вот кончится война и папа вернется...» — давно уже превратилось в бессмысленную мантру, похожую на тогдашние радиолозунги, сулившие райскую жизнь в ближайшем будущем.

И самым первым подвигом моего веселого, крепкого, лысого, заскорузлого и слегка контуженного Геракла-отца стал капитальный ремонт нашего недостроенного, но уже обветшалого домика. Но где взять в тяжкий год послевоенной разрухи драгоценные материалы — цемент, доски, инструменты, арматуру, гвозди, проволоку, дранку, драгоценный толь (о шифере мы еще ничего знать не знали), известь, любую краску?.. Мой гениальный отец, прошедший всю войну в чине младшего лейтенанта, отличался, несмотря на возможное темное пятно в наследственности, какой-то высочайшей, гипертрофированной честностью — не было офицера, который бы вернулся с фронта без приличного груза трофеев: везли составами, вагонами, контейнерами, сундуками — в зависимости от чина, положения и особых способностей; везли все: автомобили, буфеты, рояли, дворцовую мебель, картины, фикусы, фарфор, патефоны, мотоциклы, игральные карты, порнографию и дамские чулки. Вся Россия с затаенным дыханием, с дрожью и надеждой на заслуженное вознаграждение ждала возвращения согбенного под тяжестью трофеев Победителя. Ждала приезда мужа и моя настрадавшаяся мать. И вот наконец наступил день, когда к нищему, жалкому и пустому домишку подъехал на старом дамском велосипеде небритый мужичок налегке — с небольшим чемоданом на багажнике и рюкзаком за плечами. И каково же было ее горе, когда, после нескольких дней блаженного счастья, до ее сознания дошел наконец тот факт, что никаких грузовиков с заграничными товарами не будет! Дамский велосипед, английская двустволка 12-го калибра для себя, маленькое немецкое ружьецо для меня, отрез китайского шелка на платье для жены (он год воевал в Маньчжурии) и кое-что для дочки — вот все, что он смог приобрести в последний победоносный год на собственные деньги, как он мрачно подчеркивал. Мать поплакала потихоньку — и не столько о порушенной мечте разом разбогатеть, сколько из-за ложного стыда за своего неудачника-мужа: в те дни количеством награбленного определялись и доблесть, и честь, и заслуги солдата перед Отечеством. Слава богу, она довольно быстро утешилась, поскольку ее собственная щепетильность вошла в нашей семье в поговорку. Ее лицо принимало надменный вид, стоило только кому-нибудь начать хвастать добычей — своей или мужниной (тем самым вольно или невольно насмехаясь над моим отцом), и она сухо, несмотря на то, что в душе у нее скребли кошки, с достоинством отвечала, подчеркивая слова совсем как мой отец: «Мой муж — честный человек, и все, что он привез, — он купил на собственные деньги».

Отец почти всегда брал меня на барахолку, где он покупал ржавые гвозди, старые инструменты, какие-то нужные ему дощечки, куски фанеры и стекла. На барахолке торговали всем — хлебом, крупой, керосином, старыми костюмами и галошами, книгами, разрисованными «коврами» на клеенке — с полуобнаженными дамами у пруда с лебедями и голубками и с бесконечными вариантами шишкинских медведей, саврасовских «грачей» И васнецовских «Аленушек». В одном закутке барахолки вовсю торговали орденами и медалями, причем вместе с документами, и там я впервые увидел моего отца в состоянии почти бесконтрольного гнева — он весь побелел и, к моему ужасу, грязно выругался. Я видел, что он был готов убить и торговцев орденами, и покупателей орденов, но все они как-то быстро сгруппировались, и стало понятно, что эта небольшая толпа «фалеристов» не что иное, как обычная банда. Сколько потом появилось Героев войны — орденосцев! И сколько их сейчас, как «детей лейтенанта Шмидта», разбрелось по всей многострадальной России паразитировать на чужих смертях и подвигах! За неимением перечисленных выше материалов отец решил обойтись проверенными советской нищетой подручными средствами — где еще на свете, кроме России, теплится наивная надежда, что из говна можно сделать конфетку?! За ремонт он взялся рьяно: первым делом созвал со всей нашей Малой Станицы армию шалопаев моего возраста и выше (дети липли к нему, как мухи), раздал всем мешки и, велел им собирать по дорогам лошадиный и коровий навоз, пообещал каждого свозить на велосипеде на вокзал и показать настоящий паровоз — событие для ребенка по тем временам исключительное! Вся округа загудела, закопошилась, — поползли от нашего дома в разные стороны шустрые навозные жуки с обтрепанными вонючими мешками; десятка два грязных, сопливых беспризорников обрели вдруг Первую Ясную Цель в жизни: навоз! Навоз! Какое вкусное, теплое слово! Навозные кучи стали в нашем районе чем-то вроде новой валюты — лошадиные приравнивались к твердой, то, что называется конвертируемой: ну, те же доллары, фунты или западные марки, а полужидкие коровьи лепешки соответствовали родным рублям и всяким левам, леям и тугрикам. Какой это был восторг, пройдя за полудохлой клячей бог знает сколько кварталов, дожидаться наконец обильного извержения этого доселе дремлющего ходячего вулкана! Какими победоносными криками сопровождалось подобное чудо! И только недоуменная морда лошади с кровавыми от натуги глазами да недоверчивый или гневный взгляд возницы останавливал детские крики. Каждая навозная куча сияла необыкновенным светом — золотистой аурой, — и ее яркий, волшебный нимб любому из нас был виден за километр. Мы кидались к ней наперегонки и, дрожа от радости, голыми руками запихивали ее, еще теплую, пахучую, в бездонный мешок, а вечером в большой яме перед самым домом всей оравой месили голыми ногами наши трофеи с глиной и рубленой соломой. А на следующее утро отец сажал очередного «стахановца» на багажник велосипеда и через весь город вез его на пыльный, знойный вокзал показывать настоящие, живые ПАРОВОЗЫ!!! Ну не насмешка ли все это, дети мои! С тех самых пор, с тех самых блаженных и невинных дней все мое последующее существование озарялось постоянным, мистически-неумолимым отблеском этого навозного сияния! Все годы и десятилетия на хвосте моей жизни, словно на последнем вагоне длинного расхлябанного товарняка, брэнчал и позванивал этот тусклый, заляпанный навозом волшебный фонарь моей первой встречи со счастьем!

Говоря о своих тяжелых недугах, я как-то уж слишком беспечно, едва-едва, как чего-то совсем незначительного, коснулся некоторых своих расстройств сугубо умственного порядка, хотя именно тут-то и необходимо уточнение: основной умственный недостаток в те далекие времена выражался у меня (увы) в пугающей взрослых явной умственной избыточности! Надеюсь, многим ясно, к чему здесь это самое «увы» — (да, да, именно так: сейчас я вполне нормален) — в моей маленькой башке крутились какие-то мистические серо-черные, тяжелые, вневременные, нудные (я никогда не мог сказать, когда это со мной происходило — во сне ли, наяву, в этой жизни или в другой), ленивые, гигантские, пред-сознательные шары, круги, что хотите, оставляя после себя странное воспоминание ужаса и восторга одновременно. И еще неуловимое колдовское чувство уверенности, будто ты можешь просочиться не только в сознание любого окружающего тебя человека и быстренько разнюхать все его тайны, но и «слиться» с любой вещью и стать, например, бутылкой, стулом, телеграфным столбом или стрелой, пущенной из лука. Все окружающие меня взрослые казались мне — семилетнему — слепо-глухо-немыми идиотами — они не понимали самых простых вещей! Мама столбенела от ужаса, когда я вдруг говорил ни с того ни с сего, что тетю Нину, которую мы в тот вечер ждали в гости, увезли в больницу, и она уже к нам не приедет. Мать сломя голову неслась в другой конец города и узнавала, что у тети Нины жесточайший приступ и ей собираются удалять камни. Я же сам никак не мог объяснить, каким образом вырывалась у меня та или иная пророческая фраза — возьму, да и ляпну, а там уж как выйдет. И, как правило, все получалось как я ляпнул. Уже лет в пять я высказал ясную и бесспорную для себя мысль, что я никогда не умру. Раз уж я чувствую, что Я — это Я, то когда мое тело умрет, то кто же, как не кто-нибудь другой станет этим самым Я? Вспоминая мои потусторонние шары, я твердо знал, что временной пустоты для моего я просто быть не может, и — будьте любезны! — жизнь мне тут же предоставила доказательства. Как-то я плелся из детского сада и, переходя через шлюз по двум узким рельсам, свалился головой вниз прямо на бетонное дно, после чего полтора дня не приходил в сознание. Но очнулся-то я мгновенно после падения! Я прекрасно помнил бетонное в трещинках дно, летевшее на меня, и — сразу после удара — мамины руки, снимавшие с моих глаз компресс. Я был в ладу со своими шарами и в долгие часы крошечного одиночества все пытался ухватить рудиментарные отростки этой загадочной и таинственной субстанции, интуитивно чувствуя, что в этой пустоте, в этой бездонной тьме перед и за глазами, в этом НИЧТО, в этом ленивом, великом, едва ворочающемся Хаосе и заключается Единство, Начало, БОГ! И я был тогда счастлив, свободен, мудр и поражал всех своей удивительной естественностью, покоем и энергией. Ах, дети мои! Больше двух десятков лет понадобилось мне для того, чтобы хоть как-то приблизиться к моей детской ясности, потому что стоило мне прикоснуться к совдеповской суете, жалкой посюсторонней мелочности и паучьим дрызгам нашего Великого Общества, как моя мудрость покинула меня, я ослеп, оглох и все эти годы тыкался из стороны в сторону в поисках духовных сосков великой Матери-Истины.

* * *

Но вернемся к моему отцу. Ремонтируя и перестраивая дом, он параллельно строил грандиозные планы на будущее — ему не сиделось в Азии, тянуло на родину, он мечтал о своем хозяйстве, русской природе, девственной чистоте тайги, научной работе, настоящем творчестве (главное зло — и в настоящем, и в будущем — он видел

в этой своей азиатской оседлости и, как выяснилось позже, оказался прав), но стоило ему только заикнуться в ГОРОНО о желании переехать в Россию, в переезде ему наотрез отказали: в те суровые времена увольнение по собственному желанию (т. е. самовольное оставление места работы) грозило тюремным сроком. Во все советские времена в характеристиках и «делах» строителей коммунизма очень часто мелькала фраза «склонный к побегу» еще задолго до того, как этот «строитель» был отправлен в ГУЛАГ. И тут с моим отцом происходит странный и совершенно неожиданный поворот: моего отца, прошедшего две войны, вернувшегося в школу, где он считался лучшим педагогом, срочно «командируют» со всей семьей бог знает куда и бог знает на какой срок — в Павлодарскую область, в голую пустыню в ста километрах от границы с Китаем — директором «школы-интерната»! Тогда это преподносилось как Подвиг, как Служение, а на самом деле походило на бессрочную ссылку без суда и следствия. Отец-биолог никогда не скрывал презрения к бездарным вымыслам академика Лысенко, но как раз после войны имя Лысенко стало появляться в газетах чуть ли не наравне с кремлевскими бандитами. Правда, «дела» пока никакого не шили, даже расписали, как надо, природу, людей, величавый Иртыш, неподалеку — бескрайний сосновый бор, кишашие дичью озера и луга, натуральное питание — что может быть лучше? Но тут же прибавили — это надолго, дел там много, надо ехать с семьей, и — никаких выкрутасов! Отец почуял неладное, но матери ничего не сказал, хотя она, как мне потом говорила, уже все понимала и была готова ехать куда угодно, лишь бы подальше от начальства.

Короче, обновленный дом был спешно продан, убогий багаж отправлен малой скоростью, билеты на поезд куплены... И тут нашу семью постигает новый оглушительный удар: в день отъезда была объявлена денежная реформа 1947 года, и у матери на руках вместо пятидесяти тысяч рублей осталось только пять. В ужасе и унынии мы долго добирались до места: поездом до Семипалатинска и на переполненном пароходике по Иртышу до Павлодара. Погода дрянная — дули ветры, шли осенние дожди со снегом, мы путешествуем «четвертым» классом на палубе, и за весь наш путь мы не видели ни сосеночки — одна полумертвая пустыня. В Павлодаре нас устроили на несколько дней в грязном доме, набитом вшами, клопами и шоферами — последние пили водку, остальные — нашу кровь, мама проклинала все на свете, и на нее было жалко смотреть, мы с сестрой ревели, и все это заставило отца поторопиться и устроить скандал людям, которые якобы отвечали за нашу «доставку» на место. Это был настоящий послевоенный хаос, и если бы у нас были деньги, мы, я думаю, могли бы куда-нибудь уехать и там спрятаться, как это сделали все старшие мамы сестры в 1923 году. И вот наконец проехав в кузове старенькой полуторки около пятисот верст, мы прибыли на место — в злополучное село Ленинское! Тут даже у отца подкосились ноги. Одна пыльная улица, по которой с бешеной скоростью неслись, прыгая, нескончаемые, в мой рост, шары перекасти-поля, голые дома, скирды навозных лепешек и полыни (единственное топливо в этих краях), крохотная банька, в которой два раза в месяц мылись вместе мужики, бабы и дети; грязный, протухший колодец в центре села, и по ночам — истошный вой волков, подходивших нагло и бесстрашно к самым окнам (отец несколько раз стрелял из форточки в ночь «на звук», — вот вам, дети, село, названное именем Нью-Спасителя! Жили в Ленинском в основном ссыльные немцы из Поволжья, успевшие обрусеть настолько, что не обращали никакого внимания на грязь, жару, холод, голод, вшей, мышей, клопов и волков; пили наравне с русскими, а матерились еще пуще. А вверенная отцу «школа-

интернат» оказалась детским домом для детей врагов народа. Детей было около ста — золотушных, завшивевших, затравленных, запуганных, недоразвитых, несчастных детишек всяких национальностей, потерянных и милостиво подобранных строителями коммунизма на темных путях «Великого Переселения Народов». Господи! Кого здесь только не было — ингуши, чеченцы, кабардинцы и дагестанцы с Кавказа, корейцы и китайцы с Дальнего Востока, татары из Крыма, калмыки из Прикаспия, греки бог знает откуда и все те же немцы — всего детей было два с половиной класса с одной учительницей — женой единственного фельдшера — жирного, тупого, невежественного, лечившего больных только йодом. Очень скоро отец выяснил, что около половины детей больны туберкулезом, что прежний директор в открытую сек детдомовцев сыромятными ремнями, а то и кнутом, обирал их, как мог, и заставлял их всех работать на себя. И каждый из этих больных, заброшенных детей ночами, давясь под вонючим одеялом рыданиями, погружался в свое нераздельное горе и, бормоча на родном языке проклятия, лелеял огненную ненависть и месть «этим русским». Где, между какими станциями замерзла на открытой платформе (в конце ноября!) вся семья маленького, гордого и трогательного ингуша Адама, моего единственного кратковременного тогдашнего друга? Вся жизнь этого «детдома» была настолько страшна и дика, что те немногочисленные жалобы, каким-то чудом доходившие до начальства, скорее всего преспокойно летели в корзину: какая, мол, чушь! Чушь и клевета! Поэтому детдомовцы встретили меня неласково. Единственная учительница, напрочь стершаяся у меня из памяти, с первого дня из угодливости и страха принялась ставить мне только отличные отметки — через неделю директорскому сынку устроили «темную» И выбили зуб. Я смутно помню, как отец рьяно взялся за чистку авгиевых конюшен — прежде всего заставил фельдшера всех ребят (девочек в этом детдоме не было, это я помню точно) постричь наголо машинкой и керосином смазать их лысые головы. В чанах во дворе школы «варились» их убогие одежды и постельные принадлежности; все женщины поселка, включая мою мать, утюжили по очереди одеяла и простыни, а вольные немцы все тем же керосином обрабатывали железные кровати в детских спальнях. Мама, сестра и я не прожили там и полугода: моя сестра заразилась туберкулезом, и отец в панике отправил нас с матерью все в том же грузовичке до самого Павлодара (и снова нас кутали в три тулупа, снова по пустыне, в песке, ветре, снеге...), а оттуда на самолете в родной город к родственникам. Отца же не отпускали, и в открытую пригрозили «приравнять его к детям врагов народа».

И вот тут моя мама, припертая жизнью и судьбой, как загнанная в угол кошка или крыса, стала биться насмерть за отца и свою семью. Она диктовала моей сестре письма СТАЛИНУ, ВОРОШИЛОВУ, КАЛИНИНУ, БЕРИИ и кому попадет, расписывая свою (нашу) жизнь во время войны и подвиги нашего отца на фронтах Запада и Востока, и сестра от своего имени писала все эти письма. Через год его отпустили с богом, и он поехал в Россию на свою родину и там застрял на полгода в поисках нового райского уголка с заливными лугами, чистой тайгой и рекой, богатыми дичью и рыбой. Вернулся потерянный, расстроенный, убитый: Россия разочаровала его еще больше — везде он видел только голод, воровство и людскую злобу, а последним штрихом нашей «пустынной» эпопеи явилось прибытие багажа, отправленного в село Ленинское малой скоростью год назад. В прибывшем сундуке вместо нашего родного, уцелевшего после ограблений имущества оказалось грязное тряпье да поленья для весу (что говорило о том, что грабаныли нас где-то в дороге, а не в ненавистном и без того Ленинском, где каждое заезжее полено было на

вес золота). Отец крикнул, сурово и нежно потрепал по плечу онемевшую мать и пошел в ГОРОНО требовать работу.

* * *

Друзья мои! Самое противное в любом графоманском шедевре тупое и занудное описание автором значительнейших страниц своей жизни в том самом порядке, в каком их понатыкала Судьба; или дотошное описание погоды, или перечисление предметов, находящихся в комнате героини, или предметов на самой героине, если она не молода, не грудаста и не жопаста, как ренуаровские модели, если не страстная брюнетка с матовой кожей, осиной талией и фантастическими бедрами, как, скажем, моя болгарская турчанка Нэси, если на ней не слишком много перечисляемых предметов (куда как интереснее, если их нет совсем) и если она не растянулась в постели после ванны в ожидании... (Ах, как я стосковался по... Или по... Ну, на худой конец... Где-то они сейчас, мои очаровательные чудовища?) — словом, ничего нет скучнее и бездарнее перечисления — сначала мы поехали туда, потом завернули сюда, затем встретили... и т. д., и т. п., но вот кабы можно было проткнуть Время как барашка шампуром и, обсасывая его со всех сторон, соединить вдруг концы гастрономической шпаги, а затем, связав их узлом, затянуть покрепче, чтобы все кости и жилы, оставшиеся от обглоданного Времени, перекрутились в **ОДИН ПЛОТНЫЙ КОМОК!** Какое облегчение! Только заикнулся: сначала мы пое..., как тут же натыкаешься не только на «приехали», но и на встретили, пригласили, угостили, обняли, раздели, раздвинули, вставили, вскричали, зачали, родили (или убили, не родив) — и все это **ОДНОМГНОВЕННО!** (И все-таки не обошлось без перечисления!)

* * *

По возвращении в родной город (еще до приезда отца) мы разделяли свою нищету с нищетой наших родственников — у моей тетушки в двух маленьких комнатках проживали кроме нас троих еще шесть человек: тетя с мужем, три их дочери и муж старшей из них — старший лейтенант НКВД. Я честно отработывал наше «нахлебничество» — отвечал за все очереди в магазины, в основном за хлебом и мукой. По два-три раза в неделю я вставал на «переключки» часа в три ночи и приходил сонный к магазину. Когда выкликали мой номер, к примеру 8—578 (что означало 8 тысяч 578), я кричал: «Здесь!», меня отмечали, и я шел домой досыпать. Мой номер, как у заключенного в Освенциме, был крупно написан на руке чернильным карандашом, очень похожий на татуировку. Муж моей милой тетушки (бухгалтер) всегда приходил поздно ночью, а уходил раньше всех, и каждый раз, когда ложился в кровать, бормотал: «Хоть поживу немножко...» У тетушки было две кровати. На второй спал старший лейтенант со старшей дочерью, а все остальные спали на полу, устлая его тряпками, «польтами», всем, чем могли, и когда я отправлялся на ночные переключки, я буквально шел по телам. И уж какой тут мог быть разговор о всяких излишествах. Развлечениях. Дорогостоящих играх. Мать тряслась над нашим здоровьем и была помешана на чистоте — ни одна душа не должна была догадываться о нашем бедственном положении. Благодаря чистеньким костюмчикам и белым застиранным рубашкам нас в нашем нищем районе причисляли к зажиточным интеллигентам, и мама сэкономила, сэкономила всегда, постоянно, на всем, а я — я никогда ничего не имел вовремя! — вот вам формула моего детства, как, впрочем, детства почти всего моего поколения. Наступала зима, валил снег,

начинались наши континентальные трескучие морозы, и меня охватывал горячечный бред: мне днем и ночью снились лыжи и коньки — любые лыжи и любые коньки — и стоило мне хотя бы на один час вымолить у кого-нибудь плохонькую пару, как я на зависть всему свету раздражался невиданными головокружительными трюками, и только слышно было отовсюду — Талант! Талант! Но, увы, никому не приходило в голову сделать мне царский подарок. Наступало лето, и в мою башку влетал ароматный, новенький баскетбольный мяч или в мерцающем луче потустороннего сияния вкатывался, шурша шинами, божественный Х.В.З. (Харьковский Велосипедный...), и так до самого конца моего нищего детства и так по сей день... Послевоенный активист — какой-нибудь юный Ленинец или Сталинец — может обвинить меня в искажении истины — Никогда?! Ничего?! — завопит он гневно. — А Дворцы пионеров?! А самодеятельность?! Всякие там кружки, спортивные секции?!. Да, да, конечно, совался туда и я — с той жгучей и нудной тоской голодного одиночки, подглядывающего в замочную скважину за пирующей компанией. Но как только я попадал в убогий мир провинциальной советской самодеятельности и отхлебывал их тошнотворного компанейского брашна, моя хоть и незаконная, но вполне голубая кровь бурно вскипала в моих жилах, и я, только лишь успев показать, на что способен, бежал сломя голову из очередного коллектива с его скучным, серым неравенством, подлым и лицемерным небратством и свободным выражением только принудительно осознанной необходимости.

Вот, дети мои, истоки тех пороков, которые и по сей день гложат мою душу, — не приведи Господь и вам получить их по наследству! Вот и причина, по которой я так счастливо и почти безболезненно прошмыгнул стороной мимо всей этой махрово-красной дребедени: пионерии, комсомолии, сборов, слетов, спевков, ночных тревог в поисках японо-американских шпионов, мимо всех мифических и мистифицированных Карацуп, Павликов Морозовых, Лиз Чайкиных, мимо всех обманутых, несчастных, возведенных нашим лицемерием в ранг святых и бессмертных. Помогал мне во всем этом мой редкий талант, проявившийся еще в болезненном детстве, — талант виртуоза-барабанщика. На всех слетах и парадах, на поднятии утреннего флага в лагерях и прочих подобных событиях я был на положении «приглашенной звезды» — все уже знали, что я почти никогда не повторяюсь и «откалываю», как правило, что-нибудь новенькое. Свой барабан я настраивал, как драгоценнейшую скрипку, в концах палочек высверливал пустоты, куда вливал несколько капель расплавленного свинца, утяжеляя их до нужной мне кондиции. В институтском джазе я тоже был звездой «на ударных», «на меня» приходили, и я очень рано утвердился в своей «исключительности».

По возвращении моего отца из павлодарской ссылки его устроили преподавателем ботаники, зоологии и химии в ту же самую школу, где я учился уже больше года. И снова Судьба предоставила мне заманчивое положение — нам «на время» дали крохотную комнатку на втором этаже, бывшей до той поры складом ведер, швабр и других инструментов школьных уборщиц. Единственным плюсом нашей комнаты было огромное школьное окно высотой около четырех метров. Я спал, как собака, на полу перед самой дверью, сестра — на сундуке рядом со мной, а отец с мамой на узкой кровати, которая упиралась в стол, где мы с сестрой делали уроки, а мама проверяла тетради своих учениц (она работала в соседней женской школе). Но — от нашей двери до моего класса, в котором я проучился целых восемь лет, было ровно

двенадцать шагов! Пять шагов — лестничный проем, три шага — дверь в учительский туалет и еще четыре шага до двери моего класса! На все перемены я уходил в нашу комнату, и не было урока, на который бы я не опаздывал, вызывая смех всего класса и гневные слова учителей: «Ташкентский! Ты что, дальше всех живешь?!» Не отличаясь в школьные годы никакими талантами, кроме барабанных, ни изощренной хитростью, я, тем не менее, интуитивно, по подсказке свыше, старался держаться в тени, неосознанно презирая и врагов и друзей, и, глядя на всех исподлобья, как кроваво-черными глазами глядит иногда молодой жеребец, не имеющий пока ни малейшего понятия о дремлющих в нем силах. Я приглядывался к таким же как я темным лошадкам и, снедаемый немислимым честолюбием, месяцами вынашивал, как сказали бы в «Правде», «свои гнусные, авантюрные планы». Меня отправили в мой любимый лагерь сразу на два сезона! И — святая простата! — по своему крайнему невежеству я не придумал ничего более оригинального, чем сколотить в «своем» лагере Тайное Правительство, в котором, как в винегрете, «правили» и уже давно умершие, и еще здравствовавшие в то послевоенное время наши славные дряхлеющие вожди. Мне было тогда десять лет. В этом «общедоступном» лагере отдыхали по своим советским законам почти одни и те же дети, и среди них — ребята с наших трех соседних дворов, где я был уже признанным лидером. Мой сосед и друг с детсадовских времен Шурик был нашим Молотовым. Себя я сам назначил Сталиным, а вот...

* * *

Ну, наконец-то! Наконец-то я обращаю ваше внимание на моего небольшого лысенького дружочка — ей-богу, он вызывает у меня такое же умиление и ту же брезгливую настороженность, какие, возможно, вызывают у вас пушистый хорек, готовый мигом вцепиться вам в палец, или тот лилипут, которого вы, приняв за малыша, погладили по головке и спросили преувеличенно заботливо: «Что, мальчик, мамку потерял?» — и который, повернув к вам злобное сморщенное личико, шипит в ответ грубую непристойность. Нехорошо, ах, как нехорошо поддаваться низменному чувству мести! Но что взять с незаконнорожденного отпрыска столь знаменитой, но выродившейся и без Екатеринбургских кровавых подвалов фамилии, да еще отпрыска не самой здоровой ветви этого гнилого трехсотлетнего дерева! Сладкая желчь кипит во мне, жаркой волной разливается в груди веселое злорадство: в нашем Подпольном правительстве Ильичом был невероятно похожий на оригинал маленький, пузатенький, лысенький, острый, хваткий и подлый Ленька-нижний, прозванный так оттого, что жил в подвале дома моей тетушки, где мы ждали «освобождения» нашего отца то ли из ссылки, то ли из командировки. Ленька-нижний, не стесняясь и не прячась, по нескольку раз в день онанировал на глазах у всей нашей компании, при этом хрипло хихикал или заливался бесстыжим смехом, широко открывая беззубую пасть; а так как все наши сборища в заброшенных яблоневых садах походили на легендарные маевки, сходство Леньки-нижнего с Ильичом-Лукичом, особенно в моменты публичных выступлений и того и другого, у меня тогдашнего (бессознательно, конечно) и, естественно, теперешнего (совершенно сознательно!) не вызывало и не вызывает никаких сомнений. Говорят, что ростом Ильич был невысок: (1 м 56 см). Враки! Никто не убедит меня в том, что он был выше Леньки-нижнего! Никто! Хоть и старается наша неугомная власть снабдить каждый областной город топорным пятиметровым гигантом с бронзовой кепкой в бронзовом кулаке — все напрасно! Истина вопиет райцентрами и воинскими частями! Сколько их —

каменных, гипсовых, цементных, бетонных, да и просто глиняных коротышек — щедро понаставлено по всей совдепии! Диву даешься — каких только Лукичей нет по тысячам глухих Мухосрансков, Сарансков и Засызрансков! Самого уникального я видел однажды в военном городке Пружаны в центре громадной пустой городской площади — крохотного Лукича на полуметровом постаменте, вылепленного с завидным для модернистов искажением пропорций: малюсенькая, со среднее яблочко, головка, огромные ботинки, единственная поперечная складка на корявых глиняных штанинах и вытянутая вперед тяжелым краном ручища, на которой (видел собственными глазами, сам считал и даже заставил пересчитать генералов и хозяев города, показывавших мне местные достопримечательности после концерта) красовались шесть толстых коротких пальцев! Шестипалый Ильич — ужас! Какой неожиданный сатанинский антоним шестикрылого Серафима!

Сейчас, когда я сравниваю нашу подпольную команду с послереволюционной ленинской, я с нескрываемым удовольствием с одной стороны и горькой досадой с другой, нахожу, что мы от них совсем не отличались по РОСТУ, а, как потом выяснилось, со многими и по УМУ! Ну как тут не досадовать на Случай (или Божий Перст? Или Массонский Заговор? Колдовство Сионских Чернокнижников?) и необъяснимую бездарность Керенского с его правительством, равно как и на разобщенность Корниловых, Деникиных, Врангелей и Колчаков?! «Страшно далеки были они от народа!» Увы, увы! Но найдется ли в нашей истории человек, более далекий от Народа и России, чем ты — слепой, глухой и самозабвенный палач-графоман-инквизитор?!

Был, правда, еще один человек — мой венценосный родственник, если верить письму «Яранской бабушки», — который вообще не видел РЕАЛЬНОСТИ: Царское Село, парады, дворцы, да еще глупая жена и их общий «святой» наставник Григорий Распутин — вот весь его мирок. Плюс святая вера, что и Господь Бог, и вся Россия, и «всяк сущий в ней язык» живут только им одним. Боже, сколько идиотов в истории человечества заглывали эту дьявольскую приманку — ВЛАСТЬ, — из которой, как щупальцы осьминога вылезали лезть, ложь, алчность, жестокость, тщеславие и много еще чего, что просто сразу не лезет в голову... И самым страшным наркотиком всегда была самая грубая и откровенная лезть, на иглу которой мгновенно садился любой «властитель» — от швейцара и сержанта до короля и первого секретаря. И всего лишь отсутствие лезти всегда воспринималось как нечто враждебное и опасное, очень похожее НА ИЗМЕНУ!

В своем лагере мы развернули бешеную деятельность: прежде всего мы построили в глухом углу яблоневого сада свой Кремль — полуподвал, прикрытый сверху очень плотно сплетенной конусообразной крышей (чтоб как в Кремле!) — и во время самых сильных ливней она не протекала. Я, настоявшись в очередях за мукой и хлебом, прекрасно понимал, что «экономика» в любом государстве — самое главное. И в нашем Кремле (как и в Московском, как я уже тогда понимал), было полное изобилие и сластей, и хлеба, и яблок, и слив — в общем, всего, чем можно было поживиться в предгорных садах и огородах и на кухне нашего довольно убогого лагеря. На мое будущее счастье, нас накрыла старшая пионервожатая, и мы кое-как объяснили ей нашу главную ИДЕЮ — у разрушенной послевоенной страны должна быть мощная «продовольственная база»! Вот этот самый продовольственный склад

только и спас в тот год наше малолетнее правительство от взрослых неприятностей. Но об этом позже.

* * *

Итак, в то блаженное время, когда я не знал оков нашего убогого мира и грезил туманными воспоминаниями своих прежних жизней, меня влекли к себе только цари, герои и великие злодеи; я знал, что они сделаны из того же теста, из тех же бездонных ворочающихся шаров; мои герои являлись во мне в настоящем и будущем, а я являюсь и буду являться в них в прошедшем (таким образом я пытался перемешать Время, которое не существовало для моего НЕОБЪЯСНИМОГО с его безначальной ПУСТОТОЙ), и я с упоением играл в Геркулеса и Одиссея, Наполеона и Кутузова, Сталина и Гитлера, Петра Первого и Ивана Грозного. Бесспорно, тут во мне еще говорил Его Высочество мой вороватый дедушка, но — что удивительно — с самых малых лет я как-то несерьезно, скорее издевательски относился к «Новоявленному Спасителю», «Величайшему создателю» и т. д. Конечно же, все это было отражением той незримой эфирно-химической мести дедушкиных хромосом или эхом все тех же взрывов вневременной Гордости, Ярости и Муки всего Романовского древа, пробужденных воплями и стонами несчастных жертв Екатеринбургско—Алапаевской бойни. Ах, мои бедные, бедные родственники!

И я безотчетно, не ведая причин, поддаваясь лишь жгучему огню злорадства и тайного удовлетворения, подрисовывал в роскошных академических изданиях чистенькому пятилетнему божку кошачьи усы, протыкал карандашом зрачки глаз, рисовал на голове архарьи рога или маленькие бесовские рожки и всегда от души смеялся — мало что меня так забавляло в те чистые безмятежные годы! И всю мою жизнь до сегодняшнего дня чувствовал я желудочно-кишечную связь с этим предапокалиптическим карликом.

* * *

Но вернемся к моему отцу. Жить ему осталось совсем немного, а Спаситель Человечества никуда от нас не девается — он всегда с нами, как кричат плакаты на каждом заборе.

Директором нашей славной, мужской ПЕРВОЙ школы был одутловатый грузный идиот с узким лбом и фамилией Завзятый. Ему когда-то сказали, будто он походит на Сталина, и с тех пор он усердно и во всем копировал вождя: носил френч, курил трубку, выдерживал такие же паузы, какие выдерживал артист Геловани в фильмах Чиаурели, и говорил с грузинским акцентом, как бездарный артист самодеятельности. Я с трудом понимал, каким образом отцу удалось выкрутиться в тридцать седьмом. В пятидесятом его спас от «ошибок культа» только весьма странный трагический случай — увы, его собственная гибель в горах. Он люто ненавидел Сталина, но, в отличие от меня, как бы вовсе и не зная тайны своего происхождения, к Лукичу относился безразлично — здесь, пожалуй, сказала та сторона дедушки, которая заставила его выйти в восемнадцатом году на улицы Ташкента с красным бантом в петлице. И еще, конечно, во все времена его считали помешанным как раз в той не опасной для власти степени, какая снисходительно дозволялась комиссарами. Он это понимал и подыгрывал им как мог: к примеру, лихо скакал с большим белым сачком по цветочным клумбам в самом центре города, пытаясь поймать какую-нибудь

уникальную бабочку. Деловые совдепы хохотали и показывали на него пальцами. К тому же он был настолько аккуратен и точен в работе, а также внимателен и уступчив в обиходе, что, казалось, никому и в голову не приходило подозревать его в чем-либо предосудительном.

И только одно вызывало у всех полное недоумение, одно только раздражало его завистливых коллег: ну почему так фанатически, так истово, беспредельно и необъяснимо любят его ученики? Все! От самых маленьких и никудышных до прошедших огонь и воду великовозрастных детей послевоенного времени? С ними он был царствен и серьезен, непреклонен и мудр, весел и добр необычайно. В первый же месяц работы отец сколотил кружок любителей природы из самых безнадежных и трудных подростков нашей школы и занял их изнурительными воскресными скитаниями по горам и пустыням в поисках птиц, букашек, ящериц, змей, а то и горных козлов! В пять часов утра в кромешной тьме (это была его последняя весна) он устраивал смотр на углу школы, и — горе опоздавшему или нарушившему законы, установленные отцом и одобренные общим собранием. Несчастный лишался возможности проташиться с тяжелым рюкзаком тридцать, а то и все сорок километров по горам или пустыне, сбить в кровь ноги, натереть плечи, попасть под ливень или снежную бурю где-нибудь на леднике, быть покусанным скорпионом или оводами в жаркой пустыне. Какое горе для ребенка! Однажды к директору явилась мать одного ученика с нижайшей просьбой смягчить сердце жестокого учителя, исключившего из кружка ее сына, потому что мальчик вот уже неделю ничего не ест, не пьет, а по ночам плачет, мечется и в бреду просит прощения у бессердечного учителя за пустячный проступок — подумаешь, забыл напоить птиц в большой вольере, и они все (штук тридцать!) передохли.

Вспомнив великодушие Вождя, Завзятый так ярко представил себе сцену из нового фильма Чиаурели, где он, Вождь, наказывает одним мановением руки ЗЛО, а другим мудро и щедро восстанавливает СПРАВЕДЛИВОСТЬ, что, забыв начисто существо вопроса и продержав минуты три в полном недоумении вызванного в кабинет отца, пока не была исчерпана устрашающая сталинская пауза, он, поведя трубкой по диагонали сверху вниз, как должен был это сделать САМ в исполнении артиста Геловани, наконец изрек: «Пачиму, ви нэ любите дитей?» Отец был заморожен сходством и, понимая, что Завзятому теперь не до него, молчал. Женщина, почуяв неладное, вступилась было за учителя, но Вождь властным жестом ее остановил» И п а ч и м у в и д э р ж и т е п т и ц в к л э т к а х?» Тут наш Вождь затянулся, прошелся по мягким коврам кремлевского кабинета, рассеянно взглянул из окна на Красную площадь, ГУМ, мавзолей Ленина и отрезал: «П т и ц в и п у с т и т ь. К р у ж о к л и к в и д и р а в а т ь».

«Слушаюсь, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!» — почтительно и серьезно ответил отец, и в это мгновение Завзятый вспыхнул изнутри жарким пламенем, слившись душой с Величайшим из Величайших; его насквозь пронзил ток сладостной вибрации, вызванной лихой и хулиганской каббалистикой моего отца и, возможно, отозвавшейся эхом за три тысячи верст где-нибудь в печенке у самого что ни на есть настоящего рябого, сухорукого и такого же узколобого Джугашвили! Никогда еще эта невинная и в общем простительная по тем временам слабость директора Завзятого не доходила до подобного космического триумфа! Завзятый застыл в позе самого большого памятника в городе и, как командор, кивнул своей окаменевшей головой, позволяя

удалиться смерду. Отец, пропустив мать своего ученика, почтительно закрыл дверь, кремлевская вибрация прошла, а плешивый маньяк, оглядев убогую обстановку грязного школьного кабинета, грузно опустился в свое кресло, поник и сморщился, как спущенный гондон.

Ваш славный дедушка, дети мои, играл с огнем — в подлости и злой памяти Завзятый не уступал своему кремлевскому двойнику. Не прошло и недели, как он состряпал на отца донос, обвинив его в вейсманизме-морганизме, троцкизме, космополитизме и возможном шпионаже в пользу Тибетских колдунов. И быть бы ему еще одной щепкой в период Кровавых лесоразработок, если бы вдруг в нашем городе не произошло из ряда вон выходящее событие, открывшее подлый замысел Завзятого и, к несчастью, только частично изменившее судьбу моего гениального отца.

* * *

В нашем небольшом предгорном городке со скрипом, на приличной государственной дотации функционировал «Национальный театр» (это противное, но точное слово как нельзя лучше подходит ко всем нашим театрам, исправно исполняющим свои идеологически-агитационно-пропагандистские функции), в котором спектакли шли только на местном языке. Было в театре, как водится, и несколько знаменитостей — особенно выделялись два Народных артиста, к которым волей-неволей было приковано внимание наших театралов, включая и русское население. Одного звали Каматай Каматаев (в нашем подновленном городе сейчас сияет широким асфальтом и типовыми коробками проспект его имени). Второго — Дундубек Дундубеков, или что-то вроде этого, поскольку ни проспекта, ни переулка его имени в городе не осталось. Дундубек, сухой, юркий, маленький и злой комик, был, по общему мнению, намного талантливей первого — жирного, самодовольного трагика. Однако даже русские театралы довольно часто приходили смотреть на них в ролях шекспировских или мольеровских пьес с кривоногими Мальволио и узкоглазыми Сганарелями. И надо ли говорить о том, как эти два премьера ненавидели друг друга. В год, предшествующий нашим событиям, вся Советская Страна с упоением и энтузиазмом ломала головы над проблемой: как угодить Величайшему из Величайших, что подарить Несравненному Гению на его семидесятилетний Юбилей?! Ошалевшие подданные лезли из кожи, — из всех уголков необозримого Сталинского рейха ползли эшелоны с невиданными чудесами — доказательствами восторженного поклонения и любви к Вождю! Это был год смекалки, находчивости, муравьиного усердия и неслыханной гигантомании, и еще бог знает чего, что просто невозможно ни умом понять ни пером описать! Надо отдать должное и Вождю — он не скупился и сыпал в ответ свои милости направо и налево, как из рога изобилия.

Наш театр то ли по убогости воображения, то ли из почтения к советским штампам не смог придумать ничего более подходящего, чем подарить юбиляру, а с ним и нашему городу, свой новый спектакль, где, правда, отличился режиссер — во время всего представления Каматай Виссарионовича подсвечивали снизу мощным лучом так, что его тень зловещим бомбардировщиком нависала над сценой и залом, и на его фоне Дундубек Ильич выглядел пигмеем.

Ур-р-р-а-а-а!!! — кричу я сейчас за всех зрителей. Да здравствует Случай! Это был единственный в нашей стране и истории пример, КОГДА ЛУКИЧ БЫЛ

ПОСТАВЛЕН НА МЕСТО — ничего не было ни отнято и ни прибавлено, и вместе с тем, — несмотря на явную режиссерскую и юбилейную дискриминацию, а также на косые, узенькие глазки, жуткий грим, кривые ноги и местный язык, состоявший, как мне казалось, из одних твердых согласных, роль Дундубеку, как писали наши газеты, «необыкновенно удалась». «Вылитый Ленин!» — говорили даже русские театралы с почтительным удивлением.

По странному в нашей многонациональной стране стечению обстоятельств директором нашего «национального» театра был некто Самуил Цейтлин, называвший себя Одесситом из Одессы, он-то и предложил «гениальную» идею эдак невинно послать товарищу Сталину приглашение на премьеру, чтобы он принял этот оригинальный подарок, что называется, на корню, из рук в руки. Разумеется, все понимали, что товарищ Сталин не будет трястись в вагоне пять суток или болтаться в самолете больше двадцати часов, чтобы посмотреть на свое alter ego с блиноподобным лицом Каматаева! Но зато он их всех непременно пригласит в Москву! В Кремль! Осыпет почестями! Званиями! Дарами! Деньгами, наконец! Театр загудел, словно растревоженный улей, а ненависть премьеров вспыхнула с новой силой. Сославшись на свою занятость, гений ответил на печатном бланке вежливым отказом, а о приглашении даже и не заикнулся. Каматай с Дундубеком через полгода получили по Сталинской премии семнадцатой степени, Самуил Цейтлин — Знак Почета, а артисты по квартальной премии. Наш город тщеславно похвалялся в собственных газетах вниманием Величайшего. Каматай же с Дундубеком окончательно распоясались и стали сводить друг с другом счеты.

* * *

Ах, дорогие мои детишки! Ведь и я когда-то надеялся стать настоящим АРТИСТОМ, а не каким-то жалким лабухом — и я, бывало, на первых спектаклях выходил на ватных дрожащих ногах с колотящимся сердцем, потными руками и вытаращенными глазами на самую середину сцены, надеясь, что, пока я разложу свои звонкие деревяшки на столе в нужном порядке, мое волнение утихнет или пройдет вовсе. Но — мои четыре-пять п и э с, которые я успел сыграть несколько сотен раз, очень быстро выбили из меня всю эту глупость, заменив ее бодрой, фантастически пошлой, эстрадной советской «артистичностью», которая, кстати, безумно нравилась нашим благодарным, неизбалованным зрителям. Из подготовки своего номера я делал целый спектакль — я вроде бы так внимательно раскладывал свои побрякушки, постукивая по ним молоточком и прислушиваясь к их звучанию (а в это время исподлобья разглядывал зал и выбирал какую-нибудь красотку), что когда неожиданно для зрителей я выпрямлялся и церемонно кланялся выбранной мною девице, весь зал смеялся и оборачивался на нее. А если учесть, что на каждом спектакле я проделывал все это раза три, а то и четыре, то виртуозно простуканные мной «Рондо Капричиозо» Паганини или «Цыганские напевы» моего любимого Сарасате принимались с таким успехом, как будто концерт проходил у туарегов или папуасов. (Должен признаться, почти после каждого концерта девушки, которым я кланялся со сцены, ждали меня у выхода из театра.) В конце концов мои бесконечные поездки по территориям наших собственных аборигенов (Ямал, Кольский полуостров, Туркмения и Памир, Камчатка, Сахалин, Черновцы и Ужгород) привели к тому, что я только чудом не спился, не сдох от потери жизненных сил и не забыл родной язык — говорили мы только по-лабужски: басы, хилы, верзуха, чувиха, хуна, башли, лабать,

кирять, барать, верзать, друшлять, кочумать, берлять, сурлять и так далее и тому подобное — все в основном неприличное и непечатное.

Я, правда, придумал себе развлечение — на некоторых спектаклях я вставлял в какую-нибудь из п и э с часть мелодии из «Боже, Царя храни!» или из «Ивана Сусанина», или в «Венгерской рапсодии» Листа переходил вдруг на классические марши Российской Империи, «Марш Лейб-гвардии Преображенского полка» или «Егерский марш», которые, к моему удивлению, воспринимались публикой на «Ура!» как чисто советские. Так что однажды руководство Филармонии отметило меня небольшой денежной премией, назвав «настоящим советским патриотом». Зато несколько лет назад на концерте в каком-то эстонском городишке я совсем забылся и в конце «марша тореадора» — ну, знаете: та-та, тарадарадата — тарадарада, тарада, тарадара... — вставил «Боже, Царя храни!», но сыграл чуть дольше, чем обычно — это случилось совсем недавно, в 1972 году, — и вдруг кто-то из зала спел целый куплет, а я, главное, понимая, что происходит нечто катастрофическое, никак не мог остановиться, пока не закончил «музыкальную фразу». В зале раздался гром аплодисментов. Меня сначала хотели отдать под суд, потом решили уволить из Филармонии, но, наконец, остановились на строгом выговоре и запрете «на творческую деятельность и концертные выступления в течение года».

И тут я, пожалуй впервые в жизни, увлекся чтением Российской истории, начав, естественно, с «моего родословного древа». Первым делом я рванул в свой любимый третий зал Ленинки, где в первые годы моей жизни в Москве одновременно отсыпался после ночных загулов и зачитывался полузапрещенной литературой. Меня, конечно, больше всего интересовал мой гипотетический дедушка и наш общий венценосный родственник, и я, набрав кучу мемуаров и несколько подшивок туркестанских газет конца прошлого и начала нынешнего века, с головой окунулся в невероятно глупый и бездарный мир Романовых. Начал, естественно, с Его Величества Императора Николая II и его дневников. И главным моим ощущением был ШОК! Неожиданный и непередаваемый.

Первым делом я хотел узнать, как Его Величество переживал самые судьбоносные моменты своего правления — 9 января и революцию 1905 года, войну с Японией, и даже начал с самого первого дня, с Ходынки. Вот что пишет В. А. Гиляровский, который провел ночь на Ходынском поле, куда еще накануне вечером, чтобы не лишиться царских подарков и бесплатной водки, собралось более полумиллиона человек: «Над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман... Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться; лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Стоявший возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохнулся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мною кого-то рвало...» Слух, что буфетчики раздают подарки «своим», окончательно вывел ситуацию из-под контроля. Люди рванулись к баракам. Кто-то погиб в давке, другие провалились в ямы под рухнувшими настилами, третьи пострадали в драках за подарки... По официальной статистике, в «этом прискорбном происшествии» пострадало 2690 человек, из которых 1389 погибло! «Потопано около тысячи трехсот человек! — пишет в дневнике Николай, — Я узнал об этом в десять с половиной часов... Отвратительное впечатление осталось от этого известия...» Однако «отвратительное впечатление» не

заставило Николая отменить праздник, на который со всего света съехались гости. Сделали вид, что ничего особенного не случилось. Тела прибрали... Праздник над трупами, по выражению Гиляровского, шел своим чередом... На обеде для московского дворянства Николай произнес высокие слова о благе народа. Вечером император и императрица отправились на заранее запланированный бал у французского посла — в этот же день! Многие отговаривали его ехать, но Николай не согласился, сказав, что «катастрофа и есть величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздник».

Еще я отлично помню рассказ всезнающего Каргопольского о невероятном событии в Токио, куда Александр III отправил Наследника «погулять» по экзотическому востоку в надежде прервать его начинавшийся было роман с балериной Кшесинской. Николай путешествовал со своим английским братцем Георгом, и их везде встречали с триумфом. Но в Токио на будущего Российского императора из толпы набросился какой-то сумасшедший японец с мечом и этим самым мечом рубанул его по голове. К счастью для Николая (и к несчастью для России), удар прошел вскользь и только вызвал большую потерю крови. Каргопольский считает, что это коварное нападение имело какое-то влияние на Русско-Японскую войну, поскольку будущий император был обидчив и, естественно, злопамятен, но это его личное мнение. Когда я стал интересоваться этой войной, я увидел, с одной стороны, невероятный патриотический подъем народа, а с другой, как всегда, полную неразбериху, вечное техническое отставание и казнокрадство, а также раздолбайство в высшем командовании, включая императора. Война была с треском проиграна, был потерян практически весь Российский флот, не говоря о территориях и тысячах лучших матросов и офицеров. И тут начинаются первые и серьезные волнения рабочих Петербурга.

Вот что пишет в дневнике 1905 года Николай II:

«8 января. Суббота. Ясный, морозный день. Было много дел и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 000 ч. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон...»

«9 января 1905 г. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего Дворца. Войска должны были стрелять? В разных местах города было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей...»

«19 января, среда. Утомительный день. После доклада был большой прием. Завтракали: Георгий и Миша. Принял трех раненых ниж. чин., которым дал знаки отличия, воен. ордена. Затем принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков. Принял Булыгина, кот. назначается мин. Внутр. дел... Недолго погулял. До чая принял Сахарова, Витте и Гербея. Пришлось долго читать. От всего этого окончательно ослаб головою».

«28 мая, суббота. Ясный и свежий день. Завтракал Фредерикс. В 2 1/2 поехали на освящение только что выстроенного здания школы нянь. Присутствовало довольно много дам... Ездил на велосипеде и убил двух ворон. Вечером занимался».

«29 мая. Воскресенье. Рождение Татьяны, ей минуло 8 лет. Поехали к обедне и завтракали со всеми. Гуляли, ездил в байдарке. Погода была теплая. Много читал. Убил ворону. Обедали в 8 ½».

А вот — первая встреча с Распутиным:

«1905 г. 1 ноября, вторник. Холодный ветреный день. Был очень занят все утро. Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж). Погулял. В 4 часа поехали в Сергиевку. Познакомились с Человеком Божьим — Григорием из Тобольской губ. Вечером укладывался, много занимался и провел вечер с Аликс».

«1906 г. 27 января. Четверг. После доклада Будберга принял Муравьева, назнач. послом в Италию. Погулял до завтрака. В 2 1/2 принял гр. Льва Толстого (сына). Гулял и убил ворону...»

«17 марта. Четверг. Утро было довольно свободное, только два доклада. Завтракали одни с детьми. Гулял, убил двух ворон. Погода была серая и сырая».

Ну вот, пока отдохнем. Думаю, и комментировать ни к чему — и так все ясно.

* * *

Вся, или почти вся информация, которую сообщил мне в письме Каргопольский о Его Императорском Высочестве Николае Константиновиче Романове, оказалась документально правдоподобной, за исключением реальности кражи бриллиантов именно Николаем, как его звали Романовы. Мой драгоценный Каргопольский, ничего не зная о «письме бабушки», с каким-то упоительным энтузиазмом включился в «мою историю» И стал меня «просвещать», — к примеру, в нескольких местах ему попадалась одна и та же мысль — система передачи власти по наследству точным и четким ЗАКОНОМ нигде прописана не была. Каргопольский, знавший довольно хорошо мой основной недуг — Лень, стал время от времени снабжать меня ценнейшими материалами из жизни моего «дедушки», некоторыми из них я с удовольствием воспользовался. Да и сам я в конце концов с головой погрузился в эти так близкие моему сердцу расследования.

Вел. Кн. Николай Константинович (2(14) февраля 1850 г. СПб. — 14(27) января 1918 г. Ташкент) — первый ребенок Вел. Кн. Константина Николаевича, младшего брата Российского Императора Александра II. В двадцать один год (1871) командир эскадрона Лейб-гвардии Конного полка влюбляется в Фанни Лир — американскую танцовщицу и авантюристку. Весной 1874 года мать Ник. Константиновича — Александра Иосифовна — обнаружила в Мраморном дворце пропажу трех дорогих бриллиантов из оклада иконы, которой в свое время Император Николай I благословил своего сына на брак с немецкой принцессой, в замужестве Александрой Иосифовной. Великий Князь Константин Николаевич тут же вызвал полицию, и вскоре бриллианты были найдены. Провели дознание. Допросили адъютанта Вел. Кн. Е. П. Варнаховского (многие считают до сих пор, что виноват он), но на допросе он категорически отрицал причастность к краже и говорил, что лишь отнес в ломбард камни, переданные ему Николаем Константиновичем. Никола поклялся на Библии, что не виновен, чем, как говорили, усугубил свой грех. Отцу же он сказал, что готов взять на себя вину, выручая адъютанта, которого считал своим другом. Александр II взял дело под личный контроль и подключил к расследованию шефа корпуса жандармов графа Шувалова. Шувалов три часа допрашивал арестованного Николая Константиновича в присутствии отца, который в своем дневнике писал: «Никакого

раскаяния! Заклинали всем, что у него осталось светлым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием! Ничего не помогло!»

В конечном итоге пришли к выводу, что бриллианты были похищены Ник. Конст., а вырученные деньги должны были пойти на подарки любовнице князя — американской танцовщице Фанни Лир. Но Константиновичи были самыми богатыми из всех Романовых, кроме, естественно, самого главного — Николая II. Сумма оценки бриллиантов в ломбарде была намного меньше той суммы, которая была найдена в ящике стола у Николы при обыске. На семейном совете после долгих споров (отдать в солдаты, предать публичному суду, сослать на каторгу) было принято решение, приносящее минимальный вред престижу царской семьи: признать Великого Князя душевнобольным, а затем по указу Императора навсегда выслать из столицы Империи. Фанни Лир была выдворена из России с запретом когда-либо сюда возвращаться. С Великим Князем она больше никогда не встречалась. Николаю Константиновичу было объявлено фактически два приговора. Первый — для публики — состоял в признании его безумным, из чего следовало, что отныне и навсегда будет находиться под стражей на принудительном лечении в полной изоляции. Смысл семейного приговора состоял в том, что в бумагах, касающихся Императорского Дома, запрещалось упоминать его имя, а принадлежащее ему наследство передавалось младшим братьям. Он также лишался всех званий и наград и вычеркивался из списков полка. Он высылался из Петербурга НАВЕЧНО и был обязан жить под арестом в том месте, где ему будет указано.

В 24 года слово НАВЕЧНО осмыслить трудно, поэтому Никола не застрелился. Фанни в своих мемуарах (напечатанных в русском переводе в журнале «Аргус» в 1917 году) писала, что до увоза из столицы Великого Князя держали в смиренной рубашке, накачивали его лекарствами и даже били. (Сам же Никола, судя по оставленной им записи, сожалел, что не попал на каторгу.) Там же Фанни писала, что в виновность Николы она не верила ни минуту. Трудно также не согласиться с ее мнением, касающимся странного поведения его родителей. Судя по всему, их сын не заблуждался, чувствуя себя совершенно им не нужным. «Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, — писала Фанни, — ее бы скрыли; здесь же, напротив, подняли на ноги полицию». Для одних виновность Ник. Конст. не подлежит сомнению, другие выдвигают версию сплетенной против него адской интриги, замешанной на вопросах престолонаследия. Эта версия, на мой взгляд, и есть истина, поскольку в Царственном Доме считалось просто невозможным выносить сор из избы, а Великий Князь Константин Николаевич (отец Николы) тут же вызвал полицию, и через какие-то несколько дней весь Петербург знал об этом скандале.

Дело в том, что с раннего детства Никола был отдан на воспитание немецкому гувернеру по фамилии Мирбах — жестокому, подлому и неумному. Юный Князь люто его ненавидел. Характер у Николы, по мнению ВСЕЙ СЕМЬИ, был строптив и непредсказуем. Вот что пишет Никола в дневнике, когда ему исполнилось 20 лет: «Любил ли я? Другие говорят, что любил, а я не уверен. Причинял ли кому-нибудь боль? Быть может. Быть может, для того я и создан. А все же были у меня добрые чувства, но Мирбах погубил их во мне. Придется возвращать их заново...» Восемнадцати лет, выйдя наконец из-под опеки ненавистного немца, Никола разложил на каменном полу дворца костер и торжественно сжег все, что хоть как-то могло напомнить ему об этом человеке. И какое странное, удивительное совпадение,

произошедшее в моей жизни, когда я бросил свой азиатский институт и приехал «завоевывать» Москву! Мне было тогда девятнадцать лет. В первый же день, когда я снял какой-то убогий подвал в районе Таганки, я разложил на кирпичном полу все свои комсомольские документы (учетную карточку, комсомольский билет, какую-то грамоту, справку о членских взносах и что-то еще, зажег все это и как дикарь с гиканьем и воплями стал плясать танец освобождения от ненавистной и дурацкой обузы, которую без моего согласия навалили на меня в институте! (Тогда, перед отправкой на «Целину», в комсомол записывали всех скопом.)



Но вернемся к Его Высочеству. СЕМЬЯ, испугавшись его связи с американкой, посылает его в далекую Азию завоевывать ХИВУ! В тяжелейший поход, где он показывает чудеса храбрости. (Причем оба варианта: его гибель или достаточно долгое его отсутствие, СЕМЬЮ полностью устраивали.) Поход был успешный, но и тут его демонстративно обошли — вместо «Георгия» он получает орден Св. Владимира с мечами. После войны с Хивой Н. К. вернулся в невероятном восторге от Туркестана, был избран почетным членом Географического общества и назначен начальником готовящейся Амударьинской экспедиции. Он не унывает: «Каков край! — пишет он. — Забрать бы мою Фанни, да сюда, в неизведанное!» Никола вернулся из похода очарованный Азией и решил посвятить свою жизнь ориенталистике. Но его тут же выслали из Петербурга (1874), и только через семь лет он оказался в Ташкенте.

В Оренбурге 28 мая 1877 года Ник. Конст. пишет: «Я чужой, обвиненный во всех смертных грехах, удален от императорского двора, не имею права носить заслуженный гвардейский мундир и ордена! При этом издевающийся надо мной дядя-император регулярно присылает ко мне подкупленные медицинские консилиумы, и угодливые эскулапы охотно в очередной раз объявляют меня повредившимся в уме. А как иначе объяснить людям ту вздорную историю с кражей каких-то бриллиантовых стекляшек, которая послужила основанием для моего ареста, будто это я проделал для Фанни... О, Фанни, Фанни! Где ты сейчас?!» В Оренбурге Н. К. влюбился в дочь полицмейстера Надежду Александровну Дрейер и обвенчался с ней. Романовы были против этого брака, и Синод его расторгнул. Но Александр III защитил Ник. Конст. И узаконил этот неравный брак при одном условии — чтобы они навсегда поселились в Ташкенте. В Туркестане Великий Князь стал называть себя Искандером (то есть Александром Македонским). Эту фамилию носят его потомки — Князья Искандеры. В

1895 году Николай Константинович женился еще на Дарье Часовитиновой — пятнадцатилетней дочери ташкентского казака, и бывали случаи, когда он появлялся в обществе со своими двумя женами. В 1966 году я был на гастролях в Ташкенте сразу после землетрясения и посетил княжеский дворец, который на удивление мало от этого землетрясения пострадал, и даже успел поговорить с довольно интересным молодым человеком, который занимался из личной симпатии историей Великого Князя! И как я помню его хитрый взгляд (или, возможно, это мне показалось?), когда он сообщил мне, что «хотя у Ник. Конст. в Ташкенте были фактически две семьи, тем не менее у него бывали разного рода романы... И не без последствий!» (У меня тогда язык не повернулся спросить его про «мою Вятскую бабушку Анастасию Георгиевну».) Зато я увидел в музее очень красивую мраморную скульптуру, которую Великий Князь заказал в Италии у скульптора Томазо Солари — копию со знаменитого Кановы «Полина Боргезе в образе Венеры с яблоком», где вместо головы Полины (младшей сестры Наполеона) была голова возлюбленной Великого Князя Фанни Лир. И — надо же! — в ее лице я разглядел довольно явственно черты моего отца — нос и губы! («Бабушка» была права?)

В 1970 году наш эстрадный концерт был на гастролях в Софии, и там я оказался в гостях у их знаменитого историка-академика, знатока жизни и законов древних славян. Он мне сказал тогда удивительную вещь, о которой я вспоминаю чуть ли не каждый день, живя в одной из самых славянских стран. Если в роду у древних славян рождался яркий, умный, талантливый ребенок, его убивали! Он мог нарушить установившуюся стабильность власть предержащих — группы бездарных паразитов и циников!

Но вернемся к персоне, которая никаким образом (как им казалось) не угрожала благополучию и стабильному существованию СЕМЬИ — Его Императорскому Величеству Николаю II, пропустив десяток лет однообразных завтраков, гуляний, описаний погоды, убийств ворон, игры в кости и домино. Самое ненавистное для «Батюшки Царя» — длинные доклады и туманы. Самое любимое — прогулки, стрельба по воронам и кошкам, уборка снега на дорожках, строительство снежных башен и игра в кости и домино. Только к 1916 году он, наконец, открывает «круг своего чтения», состоявший, к примеру, из таких книжек: «A MILLIONAIRE GIRL» («Девочка-миллионер»!), «LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE» («Загадка желтой комнаты»), «THE WOMAN IN A MOTOR CAR»! («Женщина в автомобиле»!), «IN WHITE RAIMENT»! («В белом одеянии»!), «LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR» («Духи дамы в черном»). И т. п. Должен напомнить дорогим читателям, что в это время идет кровопролитная мировая война, о которой в царских дневниках почти или вовсе не упоминается. И пишет все это — **ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ — ИМПЕРАТОР ВСЕЯ РУСИ!!!**

«2 марта. Среда. ... в 12 час. Тронулся в поездку по Николаевской ж. д. Гулял на двух станциях. Много читал. Голова устала от последних дней. После обеда поиграл в кости».

«5 марта. Суббота (Могилев. Ставка.). Та же сырая туманная погода. Доклад длился до времени завтрака. Днем занимался, гулял в садике и писал Аликс. В 6 часов пошел ко всенощной. После обеда занимался и поиграл в домино».

«8 марта. Вторник. За вчерашний день в некоторых местах наши войска должны были

задержаться, а на других участках успели продвинуться вперед. В 3 часа отправился погулять за Днепром. Таяло сильно, но солнца все еще не видно. В 5,1/2 поехали в театр — был очень хороший кинематограф. После обеда принял Трепова. Вечером поиграл в кости».

«11 марта. Пятница. Погода стояла скверная с ветром и снегом. После завтрака принял ген. Ротта. В 3 часа вышел в сад посмотреть ВЗРЫВЫ ЛЬДА НА ДНЕПРЕ (!) Видел два и затем вернулся домой читать; В это время последовал ТРЕТИЙ, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ, кот. потряс весь дом...».

(Это единственное место в дневниках Императора, которое хоть немного напоминает ВОЙНУ!)

«23 марта. Среда. Чудный, весенний день! 9° в тени! Погулял полчаса. От 2 1/2 до 5 час. пробыл на воздухе. Кололи и спускали лед под мост, устраивая нарочно запруды. После обеда занимался до 10 1/4. НАЧАЛ ЧИТАТЬ ВСЛУХ „THE MAN WHO WAS DEAD“ („ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ МЕРТВ“!).

Это что? Совпадение? Предчувствие?

«8 декабря. Четверг. Хорошее солнечное утро. Хотелось погулять, а ПРИШЛОСЬ ИДТИ НА ДОКЛАД...»

И вот одна удивительная, пророческая запись — ведь осталось так мало времени:

«12 декабря. Вторник. Утром случай с доской от качель в саду, на которой была неприличная надпись, сделанная кем-то из стрелков 2-го полка. После дневной прогулки имел урок с Алексеем. Вечером кончили „НАКАНУНЕ“ Тургенева».

« 27 февраля. Понедельник. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла отличная. После обеда решил ехать в Ц. С. поскорее и в час ночи перебрался в поезд».

И, наконец...

«1 марта. Среда. Ночью повернули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь... Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. СТЫД и ПОЗОР! Доехать до Ц. С. не удалось, а мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам, Господь!»

И последний штрих в портрете Его Величества Императора Всея Руси... У Витте есть запись об истории дневников Николая Сипягина (убитого министра внутренних дел), которые загадочно исчезли после его смерти и, как многие считали, не без указания Царя: «Я мемуаров Сипягина не читал, но жена его мне говорила, что Сипягин честнейший и благороднейший человек, а в последние полгода своего министерства он откровенно и с большой горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя, и, главное, государь не правдив и коварен. Это же он в отчаянии говорил и своей жене».

* * *



Дворец Романова в Ташкенте

До Ташкента Его Императорское Высочество Николай Константинович Романов добирался 7 лет, и все эти годы его мысли были заняты его новой страстью — Российской Азией. В Оренбурге в 1887 году 27-летний Ник. Конст. опубликовал свою работу «Водный путь в среднюю Азию, указанный Петром Великим», которая вышла анонимно. Николай Константинович до такой степени влюбился в Среднюю Азию и ее пустыни, что совершил несколько путешествий в поисках возможностей повернуть Аму-Дарью в древнее русло и оросить громадные пустынные земли. За короткий срок Н. К. сумел прорыть стокилометровый канал, названный в честь деда «Император Николай I», а другими каналами ему удалось оросить 40 тысяч десятин пригодных земель. Его Императорское Высочество приглашал казаков-переселенцев, которым выдавались ссуды. На орошенных землях было основано 12 больших русских поселков, и все это он осуществлял на собственные деньги! Николай Константинович писал: «Мое желание оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий».



Ташкентъ. Электро-театръ „Хива“

Николай Константинович был человеком широким и добрым: получив от императора 300 тысяч рублей на постройку дворца, он построил на эти деньги в Ташкенте театр. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ занимался предпринимательством: завел мыловаренный завод, был владельцем фабрик по переработке хлопка и риса, фотографических мастерских, бильярдных заведений... На деньги, вырученные от всей этой деятельности, построил первый в Ташкенте кинотеатр (приносил ему довольно большие деньги), назвав его «Хива» В память о своем первом боевом походе. Позже он построил еще и летний кинотеатр. Неплохой доход давал ему и публичный дом — кто знает, возможно, именно ТАМ он познакомился с моей «вятской бабушкой» — жизнь, как известно, многообразна и совершенно непредсказуема! Доходы от предпринимательства приносили ему более 1,5 миллиона рублей в год, да еще из Петербурга на годовое содержание он получал 200 тысяч рублей. Николай Константинович одним из первых обратился к наиболее доходной тогда отрасли промышленности в Туркестане — строительству и эксплуатации хлопкоочистительных заводов, на которых было безотходное производство — семена хлопчатника шли на маслобойни, а жмых — на удобрения и корм скоту. У местного и русского населения снискал большую популярность оросительными работами: прорыл канал, названный им «Искадер-арыком». После его сооружения заложил на этих землях «великокняжеское» поселение «Искандер» И разбил великолепный сад. А еще он занимался археологическими раскопками древних курганов. К 1913 году в этом районе выросло уже 119 русских селений.

Оставался еще упомянутый выше Алексей Свирский, который, со слов Каргопольского, писал о жизни Великого Князя в Ташкенте «очень живо... и с симпатией». Я его тоже отыскал:

«Слушаю Петра Даниловича с большим вниманием и осыпаю его вопросами... Тогда Харченко становится окончательно откровенным и рисует своего повелителя такими красками, что моментами мне делается даже жутко. „Когда сильно пьет, то в пьяном виде превращается в дикого зверя. Свою красавицу жену Надежду Александровну, забавы ради, заставляет в одной сорочке при свете луны бегать по аллеям парка, подгоняя ее казацкой нагайкой... А вот недавно, — рассказывает Петр Данилович, — он такую штуку выкинул, что мы с Надеждой Александровной и сейчас находимся в большой тревоге. Открывается у нас в Ташкенте по приказанию министра финансов Вишнеградского сельскохозяйственная выставка... А генерал-губернатор уже не Кауфман, а Розенбах. И вдруг приходит князь в голову посетить эту выставку. Надежда Александровна всячески его отговаривает, напоминая ему, что он находится под домашним арестом, а он свое: „Мне наплевать, во мне самом кипит в жилах собачья кровь Романовых! Никому не подчиняюсь!..“ Вот тут он и выкинул штуку... На главной аллее встречает самого генерал-губернатора со свитой. „Ваше Императорское Высочество, вы, так сказать, под домашним арестом, а, извините, гуляете и прочее такое... “ И что же, ты думаешь, делает князь? Не говоря худого слова, размахивается и... ХЛЮП его превосходительство по морде! Ну и получается скандал... Вот каков наш Великий Князь!»

Отречение императора 2 марта 1917 года и Февральскую революцию Николай Константинович Романов принял с восторгом: поднял красный флаг над своим дворцом и тут же отправил приветственную телеграмму Керенскому, с которым был лично знаком.

Вскоре после установления Советской власти, 27 января 1918 года (14-го по старому стилю) Николай Константинович Романов скончался у себя на даче от воспаления легких и похоронен в Ташкенте у ограды собора прямо напротив его дворца. В Туркменской газете «Новый путь» от 18 января 1918 года дан некролог следующего содержания: «О смерти Вел. Кн. Николая Константиновича Романова (1850 г. р.). Умер в ночь с 13 на 14 января 1918 года от воспаления легких на даче под Ташкентом и похоронен 16 янв. 1918 года в Ташкенте в сквере рядом с Военным Георгиевским Собором». Я, правда, уверен, что он был расстрелян, но из-за его популярности в крае ему устроили фиктивные похороны. Что-что, а лапшу на уши большевики вешать научились, можно сказать, «с пеленок».

* * *

Но я очень сильно и очень далеко отвлекся! А что же было дальше в нашем азиатском городке и «нашем» театре? Дундубек—Ленин, как потом рассказывали, на каждом спектакле неизменно и изощренно портил воздух перед самым носом Каматаева—Сталина, чем приводил последнего в ярость. (Через несколько лет именно эта история натолкнет славного Каргопольского на сочинение краткого, но выразительного палиндрома: «Вонял Ульянов»). А Каматай в своей мести Дундубеку уже не мог выйти за пределы круга, очерченного самим Дундубеком: на последнем злополучном спектакле он прямо на сцене вывалил в кепку вождя кусок свежего говна. Дундубек перед выходом за кулисы эффектно нацепил ее на лысый череп и... Известно, что артист на сцене сливается с образом, Дундубек был настоящий артист — выходка Каматая взорвала их обоих: Дундубека и столь униженного вождя. Оба в лице одного Дундубека испустили дикий вопль (Дундубек, несмотря ни на что, из образа Ильича-Лукича так и не вышел — говорят, даже изрыгая полуазиатскую матерщину, он продолжал картавить по-ленински!), Каматай стоял спиной к зрителям и похлопывал сталинской трубкой себе по члену. Дундубек подскочил в воздухе на манер японского каратиста и через всю сцену мелкими шажками ринулся на жирного Сталина. Что тут началось, Господи! Дундубек Ильич Ленин повалил на пыльный ковер Каматая Виссарионовича Сталина и, визжа и царапаясь, стал срывать с него усы и парик, желая набить истинную морду ненавистного Каматая. Оба вождя, к ужасу и восторгу онемевшего зрителя, дрались не меньше трех минут; занавес почему-то долго не опускался, да это и понятно — когда еще увидишь такое! Говорят, что их еще не могли растащить и после того, как занавес наконец упал: Дундубек искусал Каматая, а Каматай разбил в кровь лицо Дундубека сталинской трубкой.

Рассказывали, что Берия с удовольствием доложил об этой истории Сталину, и тот, посмеявшись, сначала артистов простил. Потом задумался, притих и вдруг серьезно спросил: «Кто пэрвий начал?» — «Ленин», — ответил Берия. Сталин вспомнил, вероятно, свои собственные баталии с этим чудовищем, и коротко буркнул: «А кто пабэдил?» — «Сталин, конечно», — ответил Берия, и можно только себе представить, как это развеселило и порадовало вождя, как он усмехнулся, окинув взглядом те победоносные годы, что отделяли его от морозного январского многообещающего траурного дня. «Все они одинаковы!» — подумал, возможно, старикашка Джо, вспоминая больного фанатика в мятой кепке, и задал свой последний вопрос, решивший судьбу Дундубека: «Он что, сумасшедший, ЭТОТ ИХ Ленин?»

* * *

На следующей неделе Дундубека увезли в пустыню (из нашего города куда ни поедешь, всюду пустыня), вдогонку отправили близких родственников, и у нас с тех пор его так никто и не видел. Но эта история неожиданным образом повлияла на моего отца, уже приговоренного расплачиваться за свою ребячью выходку — через какое-то время после исчезновения Дундубека исчезает вдруг... сам Завзятый!

Тут необходимо сказать несколько слов о Советско-Российском Рвении, проявляющемся, как правило, совсем не там и не тогда, где и когда оно необходимо или хотя бы уместно. Увы! Где нужны спокойствие, осторожность, терпеливое ожидание, предусмотрительность, такт, тонкая ручная работа; словом — где нужно крохотный клочок земли разрыхлить тоненькой вилочкой, чтобы помочь окрепнуть только пробившемуся росточку заморского растения, здесь НАШИ обязательно объявят Всесоюзную Кампанию Защиты (или Борьбы) и, вызвав соседнюю воинскую часть, пройдутся по опытной грядочке всей танковой бригадой. ИХ рвение не знает пределов, касается ли оно спасения всего Человечества, или простого утопающего, а также борьбы с врагами народа или вредными насекомыми. А впрочем, и у нас могли быть случаи, хотя бы частично оправдывающие глобальный размах, — борясь, к примеру, в тайге с каким-нибудь древесным жучком — вдруг могли отравить (до прихода пограничников) случайно забредшего в обрабатываемую зону американского агента, или, наоборот, арестовывая с десяток-другой миллионов врагов народа, усердные чекисты наверняка за все 60 лет ненароком перетоптали своими сапогами полчища клопов и тараканов. И всегда любая подобная Кампания, начатая властями и разжигаемая российским рвением, растет, как снежная лавина, и уж как понесется, то ничем ее не остановишь, как бы ни хотел этого сам россиянин. И только окинув глазом произведенный погром, он почешет в затылке и задумается: «Кажется я... того... перебрал».

Наши начальнички тоже отличились — за Дундубеком сняли директора театра (Каматая, правда, не тронули, а, наоборот, отправили в санаторий Совмина), у себя в аппарате в один день раскрыли заговор космополитов и националистов; за какой-то месяц были «выявлены» сотни шпионов, саботажников, диверсантов, врачей-отравителей, сионистов и басмачей! Кто-то усмотрел в страсти Завязатого «представлять» Величайшего с преувеличенным грузинским акцентом наглое издевательство над Вождем — что, товарищ Сталин ТАК ПЛОХО ЗНАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК? Да тут еще Каматай вышел сухим из воды — ну, артисты! Словом, Завзятый был обречен — каким-то образом он настолько вытеснил в головах начальства прощенного Каматая, что пошел по одному делу с Дундубеком. Их обвинили в шпионаже, контрреволюции и в подготовке покушения на Жизнь Вождя! К счастью или несчастью (это уже вопрос к Судьбе), отец мой со своими голодранцами был высоко в горах в абсолютно безлюдном ущелье. Скорее всего, он тоже был обречен. И тут, как мне кажется, какой-то интеллигент из НКВД предложил блистательный вариант: одновременно избавиться от настоящего врага народа — генетика, Вейсманиста-Морганиста — и — явить народу Истинного Советского Героя! НКВДист-интеллигент, спасая моего отца от позорного процесса, подставляет ему ножку на горной скале, и мой сорокалетний отец, будучи в превосходной форме, прошедший две войны, способный прошагать по горам добрую сотню километров в день, разбивается насмерть за пять дней до возвращения из экспедиции домой! И только лишь одно обстоятельство смущает меня до сих пор — никто не видел, КАК это произошло — ни следов, ни свидетелей, ни свидетельств, и только живет в мозгу

страшное подозрение: а ВДРУГ КТО-ТО ЗНАЕТ? ИЛИ ЗНАЛ? Все страсти в нашем городе мгновенно обратились к загадочной и трагической смерти отца — какое счастье! Какая подходящая и своевременная возможность показать людям Настоящего Человека — так много что-то оказалось в последнее время ВРАГОВ, столько воплей и слез, раздирающих даже суровые мозолистые души чекистов, что случайное (или — скорее всего — подготовленное временем) «падение со скалы» моего отца явилось чем-то вроде солнечного зайчика в затхлом могильном склепе! Вздогнули и обыватели, удивленно прислушались, огляделись по сторонам и облегченно вздохнули — Боже милостивый! Значит есть еще чистые страдальцы, есть еще незапятнанные мученики! И вся накопленная тоска, вся жалость и все сочувствие, которые люди старательно прятали, когда дело касалось жуткого и мистического понятия «ВРАГ НАРОДА», теперь вырвались на волю и потекли вместе с толпами к нашей школе, где в центре спортивного зала, заваленный траурными венками, стоял гроб моего отца. Как Россия любит чествовать мертвых! Как легко и возвышенно пишутся некрологи и декламируются речи на могилах! С каким спокойствием подмахивает свою подпись советский цензор под решением издать собрание сочинений только что с почестями похороненного писателя! Он уже молчит! Он уже ничего не выкинет! Не отколет! Не подпишет крамольную петицию, не даст «скользкое» интервью иностранному корреспонденту! Так что вперед! Расхваливайте его как можно восторженнее, пишите ему дифирамбы, ставьте монументы, снимайте о нем кино и называйте его именем пароходы! ОН МЕРТВ.

И все-таки мне удалось за всю мою тридцатидвухлетнюю жизнь написать еще один стишок, посвятив его моему отцу. Вот он:

Поле надо пахать,
ровнять, бронить
и еще удобрять.
А Человека травить,
убивать, хоронить...
А потом прославлять.

В один день о моем отце узнал весь город — прощание с доселе никому не известным учителем вылилось в какое-то паломничество к праху великомученика. Похоронный грузовик утопал в цветах, толпа рыдала и утирала слезы, глядя на моего отца в гробу и на нас с сестрой у изголовья, и если сузить масштабы Российской Империи до размеров нашего города, то можно без преувеличения, слегка пощекотав неутоленное тщеславие отошедшей души моего отца, сказать, или, как это было в моем случае, — глядя с открытой платформы на море цветов, реки слез и волны любопытных голов, — просто рассеянно отметить, что похороны были поистине ЦАРСКИМИ.

* * *

Но кто бы мог подумать, что гроза, разбушевавшаяся над нашим городом, случайной своей молнией заденет и меня, невинного одиннадцатилетнего пацаненка! Мое Тайное Правительство, еще не приступившее к своим прямым обязанностям, а именно — установлению моей неограниченной самодержавной власти сначала в классе, потом в школе, во всем квартале, районе, городе и т. д., было, увы, низвержено

все теми же неусыпными стражами из НКВД. Враг народа, агент империалистических разведок, Особо Опасный Террорист Завзятый, ранее скрывавшийся под личиной директора школы, приковал внимание вышеупомянутых органов ко вверенной ему организации, и во время одной из инспекций в нашу славную мужскую школу № 1 на только что перекрашенной стенке коридора был обнаружен прилепленный клочок газеты «Правда» с портретом Сталина, прямо усами которого кто-то подтер себе задницу. Потрясенные инспекторы вызвали подкрепление — школа была оцеплена, у каждого входа и выхода было поставлено по паре молодчиков в гражданском, в общем, все были начеку. После продолжительного совещания в кабинете нового директора — скончавшегося, между прочим, довольно скоро от инфаркта, хотя ему было чуть за сорок, — «инспекторы» решили, что это могло быть и простым совпадением — ведь в то время ни одной газеты не выходило без портрета вождя. На этом и разошлись. Но и на другой день загаженный портрет Иосифа Виссарионовича красовался на стенке прямо против учительской, и еще целый месяц подряд «медальное» лицо мудрого учителя и вождя из очередной «Правды» или «Известий», все вымазанное в говне и смятое по знакомой, не вызывающей никакого сомнения форме, появлялось то на подоконнике, то на дверях директора, а однажды каким-то образом оказалось на доске Почета рядом с лучшими учителями и работниками школы!

Я думаю, что если бы величайший Рабле жил в наше время, то, перечисляя наилучшие способы подтирания задниц, он рядом с дамскими полумасками, шейными платками, шляпами пажей, подушками, пенюарами и молодыми гусятами непременно бы поставил и газетные портреты вождей — в этом есть нечто «идеалистическое», а, следовательно, нематериальное, то есть, можно сказать, метафизическое! (хотя в данном случае несколько мешает гадкая форма), — какая-никакая, пусть обратная, но в прямом и переносном смысле духовная связь! Словом, если бы сюда не подмешивались низменные чувства мести и злорадства, подкрепленные сознанием полной безнаказанности, то можно было бы осмелиться назвать эту процедуру в какой-то степени даже возвышенной! — таким приобщением (правда, «через жопу», как говорят в народе) к сонму великих мира сего! Короче, всем было ясно, что случилось нечто неслыханное и невообразимое — вопиющий вызов, БУНТ!!! И вот тогда образовалась Чрезвычайная Медицинская Комиссия; наш медкабинет оккупировали неведомые нам люди, и каждый учитель, каждый ученик, а также все, проживающие в школе люди — уборщицы, самая старая учительница, которую из милости оставили доживать в крохотной комнатухе в полуподвале, ну и конечно, наша семья — все должны были пройти унижительную процедуру — сдать пробы кала на обнаружение идеологического диверсанта и циничного святотатца! Сначала было велено ученический кал приносить в спичечных коробках, но в первый же день, к ужасу чекистов, на каждом десятом-двадцатом коробке красовался до боли знакомый портрет вождя! Ну, хоть святых выноси — что называется, насрали прямо в душу! Бравые ребята из НКВД тут же поменяли тактику: в присутствии свидетелей в штатском из того же НКВД решили брать анализы прямо в кабинете школьного врача! У медкабинета по утрам образовывалась очередь из учеников и учителей, и ВСЕМ было стыдно смотреть друг другу в глаза!

По причине моей самой непосредственной близости к туалету мне досталось больше всего. На второй день подтирочной кампании я уже был подозреваемым № 1,

и в нашей комнате обосновался молодой и нагловатый дядя, устроивший самый тщательный обыск в нашей невероятно тесной комнатухе в поисках газет с вырванными портретами Вождя. Он был у нас два раза и каждый раз требовал после тяжелых трудов напоить его чаем с сушками. В полной мере представить себе все последующие события и страсти могут только люди, пережившие сталинские кошмары. Бог свидетель, что даже я, мало что знавший тогда и еще ничего не испытывавший, увидев побелевшую мать, понял, что дело худо. В одно мгновение по городу разошлась молва, что в нашей школе обнаружена тайная организация со складом оружия и связями с японскими и английскими разведками.

И тут вдруг меня вызывают в кабинет директора, и два серьезных мужика устраивают мне допрос: что за «правительство» я организовал в пионерском отряде?!

Оказывается, наш Ильич-Лукич — Ленька-нижний — настучал на всех нас и на самого себя. Но расследование в нашем лагере, допросы пионервожатых, наша «экономическая программа» и, главное, десятки анализов, взятых у меня разными способами... Да... Знали бы они у ЧЬЕГО (правда, гипотетического) родственника они каждый день две недели ковырялись в заднице! А усы Вождя со смачными кусками говна все продолжали появляться в самых неожиданных местах.

И только я знал, чья это работа! На подоконник прямо против наших дверей я поставил крохотный кусочек разбитого зеркала так, чтобы он отражал вход в учительский туалет, и буквально часами в отцовский военный полевой бинокль через чуть приоткрытую дверь нашей комнаты следил за всеми, кто туда заходил, и вел дневник, куда записывал личность, время и частоту заходов. А потом, когда где-нибудь появлялся вонючий и помятый потрет вождя, я тут же сверял всех посетителей туалета со своими записями. И через неделю я уже ТОЧНО знал, что это был никто иной, как молодой офицерик, сожравший все наши сушки! Я радостно сообщил эту новость маме, но она чуть не потеряла сознание, бухнулась передо мной на колени и, заглушая рыдания, умоляла меня никогда и никому этого не говорить...

* * *

И все-таки... Еще немного о Его Величестве.

И его арест, и ссылка всей семьи в Тобольск, судя по записям в дневнике, почти никак не отразились на его привычном существовании и на твердо устоявшемся в ЕГО мозгу представлении об окружающей его реальности. Не хватало только ворон и кошек.

«14 ноября 1917 г. Погода была солнечная, теплая и с порывистым ветром. За дневным чаем я перечитывал свои прежние дневники — приятное занятие!»

«15 ноября 1917 г. День был морозный и солнечный, на дворе стало скользко невероятно. Гуляли долго. Пилил дрова...»

И вот — первое упоминание о катастрофической действительности, на которую Его Величество смотрит как бы из далекого будущего, и при этом погода все равно остается у него на первом месте:

«17 ноября. Пятница. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве! Гораздо хуже и позорней событий смутного времени!..»

Вот на этом, собственно, и закончились мои изыскания, после которых у меня никакой особой уверенности в «высоком» родстве не убавилось и не прибавилось, только я еще

раз убедился, что у нас на Руси к высоким дуракам липнет, как мухи, всякая шваль, а достойных людей эта же шваль готова оклеветать, сожрать и послать куда подальше...

* * *

Здесь, к счастью, заканчивается моя рукопись, а возвращаться в мерзкое прошлое и дописывать что-то мне просто лень — да и зачем? Я по своей природе махровый реалист и еще раз повторю то, что было сказано в самом начале моего рассказа: все, что здесь написано, — ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА.

Но, Боже мой! Какой бы могла быть Россия, если бы ее Императором стал в свое время Его Высочество Николай Константинович Романов — мой гипотетический дедушка!

23 апреля 1972 г.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №9